

**Фридрих
Шлейермахер**

ГЕРМЕНЕВТИКА



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ

Фридрих Шлейермахер
ГЕРМЕНЕВТИКА

F.D.E. Schleiermacher
HERMENEUTIK

F.D.E. Schleiermacher
HERMENEUTIK

SUHRKAMP
1977

Фридрих Шлейермахер
ГЕРМЕНЕВТИКА



«Европейский Дом»
Санкт-Петербург
2004

Ф.Шлейермахер. Герменевтика. — Перевод с немецкого *А.Л.Вольского*. Научный редактор *Н.О.Гучинская*. — СПб.: «Европейский Дом». 2004. — 242 с.

Книга является первым переводом на русский язык «Герменевтики» Фридриха Шлейермахера, известного немецкого богослова, философа и переводчика, основоположника современной филологической герменевтики — науки о толковании и понимании текста. Для настоящего издания использован текст, изданный учеником Шлейермахера Фр. Люке в 1836 г. и переизданный М.Франком в 1977 г., который отражает развитие герменевтической теории Шлейермахера.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами интерпретации текста, истории и теории герменевтики.

ISBN 5-8015-0176-2

© А.Л.Вольский, перевод, 2004

© Европейский Дом, 2004

ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР И ЕГО ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

В статье «Возникновение герменевтики» Вильгельм Дильтей называет Фридриха Шлейермахера создателем всеобщей науки герменевтики¹. В разработке своей герменевтической системы Шлейермахер опирался на герменевтическую традицию, корни которой уходят в глубь веков. Герменевтика как теория и практика толкования текста возникла в древности. Поэтому прежде чем рассмотреть герменевтическую концепцию Шлейермахера, следует указать на основные этапы развития этой науки в предшествующий период.

Слово герменевтика – русскоязычная форма латинского существительного *hermeneutica*, являющегося переводом греческого субстантивированного прилагательного ἡ ἐρμηνευτική (искусство толкования или объяснения). Слово ἐρμηνευτική образовано от глагола ἐρμενεύειν, имеющего в переводе на современные языки следующие значения: 1. говорить, высказывать, выражать 2. толковать, интерпретировать 3. переводить. Принято также считать, что этимологически герменевтика связана с Гермесом, возвещающим людям волю богов².

Представление о том, что духовный мир имеет свой собственный язык – «божественный», обычному человеку не

¹ *Dilthey W.* Die Entstehung der Hermeneutik, in: *Gesammelte Schriften V*, S.329. *Гучинская Н.О.* Hermeneutica in nuce. Очерк филологической герменевтики, СПб., 2002, с.11.

² *Ebeling G.* Art.Hermeneutik, in: *Religion in Geschichte und Gegenwart*, Bd.III., Tübingen, 1959, S.243.

доступный, закрытый, герметический, подробно обсуждается в платоновском «Кратиле». Для понимания такого герметического языка необходим посредник – герменевт (греч. ὁ ἑρμηνεύς). К этому корню относится и слово, обозначающее толкование (греч. ἡ ἑρμηνεία).

Первые упоминания о ἡ ἑρμηνευτική также встречаются в сочинениях Платона³, в которых искусство толкования граничит с искусством глашатая, искусством прорицания и поэтическим творчеством. Неслучайно Платон называет поэтов «герменевтами богов»⁴. Как и поэтическое искусство ἡ ἑρμηνευτική, по Платону, не ведет к мудрости (софии), ибо герменевт толкует чужую речь, выявляет ее смысл, однако сам не может знать, истинна толкуемая им речь или нет.

Развитием античной герменевтики стал трактат Аристотеля «Περὶ ἑρμηνείας» (русский перевод «Об истолковании»), в котором рассматривается проблема истинности и ложности утвердительного высказывания (λόγος ἀποφαντικός). Примечательно, что у Аристотеля герменевтика связывается уже не с поэзией, как у Платона, а с логикой. Трактат «Об истолковании» открывает корпус его логических сочинений.

Самостоятельное значение герменевтика приобретает у стоиков в контексте их учения о логосе и толкованиями мифов.

Стоики различали два вида речи – λόγος ἐνδιαθετός и λόγος προφορικός (внутренний и внешний логос). Для них ἑρμενεύειν есть перевод внутренней речи во внешнюю речь, высказывание и определение соотношения между ними⁵.

³ Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Тт.1–4 М.1986, 1990, 1994, 1995 (Политик 260 d 11, Определения 414 d 4, Тимей 71a–72b).

⁴ Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.1, М. Ион 535 а.

⁵ *Repin J. Hermeneutik, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd.14, Stuttgart, 1988, S.728.*

Другой причиной развития герменевтики стала необходимость объяснения эпического предания. Как могли боги вершить зло? Стремясь сохранить авторитет предания, стоики стали толковать мифы иносказательно, пользуясь термином ὑπόνοια (греч. догадка, тайный смысл, символ). Так возник метод толкования, получивший впоследствии наименование аллегорического.

Пользуясь им, стоики решали проблему соотношения поэтического мифа и рационального логоса. Антропоморфные боги для них являлись аллегориями мирового разума – логоса⁶. При толковании стоики широко пользовались этимологическим методом⁷, пытаясь через этимологию слова прийти к толкованию обозначаемой им вещи. Этимологизирование у стоиков является разновидностью аллегорического толкования.

Аллегорический метод толкования получил свое развитие у иудейского экзегета⁸ Филона Александрийского и связан с эпохой эллинизма.

Эллинизм первоначально обозначал правильное употребление греческого языка, особенно негреками, затем – распространение греческой культуры среди других культур, а также вхождение иных культур в греческую. Особенно значимым для культурной традиции стало взаимодействие греческой культуры и иудейской.

⁶ Цицерон. О природе богов, СПб. 2002, с.93–172. В своей речи стоик Бальб говорит: ...мир есть бог. (с.103)

⁷ Зачастую такая этимология была не научной, а, как и у Платона, вольной. Так, Юпитер трактовался как «помогающий отец» (Juvans pater).

⁸ Экзегеза (греч. – толкование) возникла в связи с исследованием поэм Гомера, т.е. первоначально поэзии. Затем это понятие было перенесено на прозу, а с александрийских времен экзегезой стали называть комментарии к целым произведениям, прежде всего Библии.

Крупнейшим центром этого взаимодействия была Александрия, в которой в 3–2 вв. до н.э. был осуществлен перевод Ветхого Завета на греческий язык (Септуагинта). Потребность в переводе возникла, во-первых, из-за того, что для многих александрийских иудеев (а они остались в Египте со времен Иосифа) греческий язык уже стал родным и единственным (как, например, для Филона), а, во-вторых, с задачей проповеди Писания среди язычников. Перевод потребовал переосмысления, герменевтического перетолкования основных иудейских понятий в системе другого языка и другого мировоззрения⁹.

В историю герменевтики Филон вошел как создатель аллегорезы, т.е. аллегорического метода толкования, различающего два вида смысла – буквальный (исторический, плотский) и аллегорический (вечный, духовный). Аллегорический смысл для Филона выше исторического¹⁰.

Поскольку для Филона Писание есть сокровищница Божественных тайн, оно наполнено аллегориями, всякое слово таит в себе сокровенный, открытый только посвященным, Божественный смысл. На практике это приводило к полному отказу от смысла буквального, превращению Писания в гностический, закрытый текст, хотя еще стоики, разрабатывая аллегорезу, призывали обращаться к аллегории только тогда, когда все возможности буквального толкования будут исчерпаны¹¹. Кроме того, тотальность аллегорий приводила

⁹ Трубецкой С.Н. Ученис о логосе в его истории // Сочинения, М., 1994, с 117–203.

¹⁰ Для иудея история была отражением Божьего промысла и поэтому исторический смысл для него совсем не означает только временного, а потому преходящего и случайного. Для грека же, наоборот, временное есть текущее, бременное, а вечным, по Гераклиту, остается всегда равный себе логос.

¹¹ Grondin J. Einführung in die literarische Hermeneutik, Darmstadt, 1991, S.31.

к тому, что этот метод из духовно-поэтического становился механическим.

Филон стоял у истоков александрийской богословской школы, из которой вышли крупнейшие новозаветные богословы и герменевты – Климент Александрийский (150–215) и Ориген (185–253(4)).

Климент был христианином, но как и Филон, искал синтеза библейского и античного мировоззрений и усматривал таковой в Божественном Логосе, на основе которого он строил свое символически-гностическое толкование¹².

Учеником Климента был Ориген, различивший в своем главном богословском труде «О началах» три смысла Писания: телесный, душевный и духовный¹³, а Ветхий Завет рассматривавший как подготовку, прообраз Нового Завета (жертва Авраамом Исаака – прототип жертвенной смерти Христа), по схеме: обетование — исполнение.

Этот метод толкования, получивший в 19 в. наименование типологического, применял и апостол Павел, который в «Послании к галатам», толкуя историю о двух сыновьях Авраама, говорит: «Скажите мне вы, желающие быть под Законом, — разве вы не слушаете Закона; ибо написано: «Авраам имел двух сынов, одного – от рабы, а другого – от свободной»... В этом есть иносказание; (греч. аллегория – *A.V.*) это – два Завета.» (Гал.4;21–24).

Оригеном предпринята попытка сравнительного изучения Писания на основе сравнения шести параллельных текстов Ветхого Завета (т.н.гекзаплы), а также первый опыт текстологического исследования Нового Завета¹⁴.

¹² Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие, Клин, 2001, с.91–102.

¹³ Ориген. О началах СПб, 2000, с.323–324.

¹⁴ Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие, Клин, 2001, сс.109, 111: Ориген поставил проблему авторства «Послания к евреям».

Аллегореза получила свое дальнейшее развитие в Средневековье, когда было сформулировано учение о четырех смыслах Писания: буквальном (историческом, телесном), моральном, аллегорическом и анагогическом (эсхатологическом). Эсхатологический смысл – высший из всех, скрытый до скончания века, который был явлен донине только одному человеку – Иоанну Богослову.

В эпоху позднего Средневековья Августин Дакийский сформулировал это учение так: *littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia*. (буквальный смысл учит прошедшему (т.е. истории), аллегорический – во что должно веровать, моральный – что творить, анагогический – к чему стремиться).

Как явствует из рассуждений Фомы Аквинского на эту тему, речь фактически идет о двух видах смысла – буквальном (*sensus litteralis*) и духовном (*sensus spiritualis*), который потом по-разному делится на виды¹⁵.

В противовес александрийцам антиохийская школа, во главе которой стояли Диодор Тарский (ум. до 394), Иоанн Златоуст (349–407), Фёдор Мопсуетский (ок.350–428), Феодорит Киррский (393–ок.466), критиковала универсализм аллегории и выступали за преимущество исторического смысла Писания. Так, «Песнь Песней» они толковали как любовную лирику, а в книге «Иова» усматривали только поэтизацию исторического предания. По их мнению, правильным было говорить не о нескольких смыслах Писания, а возможности установления аналогии между ее частями¹⁶. К сожалению, ни один из герменевтических трактатов антиохийцев до нас не дошел¹⁷.

¹⁵ *Grondin J.* a.a.O., S.41.

¹⁶ *Dilthey W.* a.a.O., S.323.

¹⁷ *Stäublin Chr.* Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiocheischen Exegese, Köln, Bonn, 1974.

Крупнейшим теоретиком и практиком толкования был Бл.Августин (354–430), герменевтическая теория которого главным образом содержится в его трактате «О христианском учении».

Истинно научное знание (герменевтический анализ библейского текста, в частности), по Августину, не противоречит вере, а, наоборот, должно вести к укреплению в ней и преумножению любви к Богу и ближнему. Христианская любовь (*caritas*) – альфа и омега толкования библейского текста. Теоретическое знание служит практическому богопознанию.

Августин говорит, что для истинного толкования важна нравственная подготовленность и одухотворенность самого толкователя. Библия для Августина – в целом открытый для верующего текст. Только в случае темных мест следует прибегать к толкованию¹⁸. Темные места и логические парадоксы библейского текста для Августина являются признаком его боговдохновенной природы и заключенной в нем премудрости Божией. Герменевтическое учение Августина связано с понятием знака и его толкованием. Не отрицая учения об аллегорическом смысле Писания, Августин советует обращаться к нему, когда будет установлен исторический смысл, для которого часто необходимы разнообразные научные знания. «Всякое толкование, говорит он, следует обдумывать до тех пор, пока оно не станет выражением владычества любви. Но если это владычество проявляется уже в буквальном смысле, не нужно искать фигурального»¹⁹.

Смысл темных мест Писания следует толковать с помощью мест более ясных; этот принцип получил название метода параллельных мест.

¹⁸ *Jung M. Hermeneutik zur Einführung*, Hamburg, 2001, S.41.

¹⁹ *Augustinus. Die christliche Bildung (De doctrina christiana)*, Stuttgart, 2002, S.119.

В эпоху Ренессанса вместе с ростом интереса к античности, классическим языкам и филологии начинают разрабатываться и новые методы изучения древних текстов. Та ветвь филологической науки, которая занималась изучением и толкованием античных текстов получила название *ars critica*, герменевтика же по-прежнему ориентировалась на толкование текстов библейских²⁰.

Противоборство двух способов толкования пронизывает все средневековье и продолжается вплоть до Реформации, до появления протестантизма, который, как считает В. Дильтей, положил начало герменевтике как науке²¹.

М. Лютер подхватывает антиохийскую линию в экзегезе и настаивает на примате буквального смысла Св. Писания. Отчасти это связано с развитием филологии, научным исследованием библейского текста, но в большей степени с богословской концепцией самого М. Лютера, который объявил, что Библия доступна всякому верующему христианину и сформулировал принцип: *Scriptura sui ipsius interpres* – Писание само себя истолковывает, и потому не нуждается в отдельной истолковывающей инстанции – Церкви и ее Предании. Все непонятные места Библии растолковываются самой же Библией через параллельные места.

Следуя Бл. Августину, Лютер утверждает, что каждый христианин, воспринимающий текст с верой, правильно понимает его духовный смысл. Понимание духовного смысла текста является следствием применения не какого-то специального духовного толкования, но возникает благодаря одухотворенности самого толкователя.

Однако полный отказ от аллегорического в толковании, особенно после Лютера, привел к рационализации герме-

²⁰ *Dilthey W.* a.a.O., S.323–324.

²¹ *Dilthey W.* a.a.O., S.317.

невтического метода. Неслучайно, что ученик Лютера Флаций Иллирийский, претендуя на выяснение окончательного смысла толкуемого им теста, считал герменевтику своего рода пропедевтикой к логике, а Й.К.Даннхауер, который, кстати, и ввел в 17 в. термин *hermeneutica* в научный обиход, разделил сакральную и профанную герменевтики (*hermeneutica sacra*, *hermeneutica profana*), формулируя для каждой из них отдельные правила. Герменевтика становится суммой чисто внешних наблюдений. Большинство учебников по герменевтике, написанных в 17–18 вв., ограничивают ее набором правил.

Й.М.Кладениус (J.M.Chladenius 1710–1752) опубликовал в Лейпциге книгу под названием «Введение к правильному толкованию разумных речей и текстов» («*Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften*», 1742). В этой книге он ставит задачу создания всеобщей герменевтики как искусства толкования (*allgemeine Auslegekunst*), которую решает в духе господствовавшего тогда в философии рационализма. Область герменевтики ограничивается здесь «разумными речами и текстами», т.е. из нее исключаются сакральные и поэтические тексты: сакральные тексты, как содержащие Божественные тайны (*göttliche Geheimnisse*) и, стало быть, превышающие человеческий разум, поэтические тексты – из-за свойственной им двусмысленности и загадочности. В догматических (т.е. философских) и исторических текстах герменевтика должна толковать т.н. темные места (*dunkle Stellen*). При этом часть темных мест является предметом изучения критики как учения о подлинности текста и филологии (грамматики) как учения о языке.

К компетенции герменевтики относятся только те темные места, которые читатель не понимает в силу недостаточного знания им того предмета, о котором идет речь в тексте.

Задачей понимания Кладениус считает полное овладение предметом, которое происходит за счет усвоения понятий, которые данный предмет выражают. Предмет для Кладениуса – величина, во-первых, объективная, незыблемая, во-вторых, внетекстовая. Возникает триада: предмет-текст-читатель. Недостающие понятия о предмете должен дать читателю толкователь.

Важно отметить, что роль автора текста при таком построении становится вторичной. Автор выражает в тексте свое (ограниченное) знание о предмете, и поэтому читатель в понимании предмета текста может превзойти самого автора. С этим постулатом связана идея Кладениуса о «точке зрения» (*scopus, Seh-Punkt*), как об исторически и субъективно обусловленной форме понимания. В целом герменевтика Кладениуса отталкивается от концепции словесного творчества как подражания природе, *imitatio naturae*, что и приводит к разделению предмета и текста²².

Георг Фридрих Майер (1718–1777) опубликовал в 1757 г. в Халле герменевтический трактат, озаглавленный «Опыт общего искусства толкования» («*Versuch einer allgemeinen Auslegkunst*»). Герменевтика Майера, опираясь на философские идеи Лейбница, строит универсальную герменевтику на основе всеобщей теории знаков. Знак у Майера (как и у Августина) – понятие не только языковое. Знаками являются все предметы мира (т.н.естественные знаки), образующие совокупное семиотическое пространство, в центре которого находится Творец мира – Бог. Знаки языковые устроены по образцу естественных знаков. Они указывают на своего создателя – автора текста. Так возникает параллелизм Божественного и человеческого, мира и текста.

²² Szondi P. Einführung in die literarische Hermeneutik, Frankfurt am Main, 1975, S.67f.

Важным следствием данной теории является принцип «герменевтической справедливости» (*hermeneutische Billigkeit*), согласно которому следует исходить из того, что всякий текст представляет собой совершенную знаковую систему, до тех пор пока не установлено обратное.

Переворот в философии, произведенный И.Кантом, повлиял на развитие науки о толковании. Рационализм исходил из возможности познания мира с помощью разума: хотя человеческий разум конечен, но он может познать мир, который организован по разумным законам. Эта идея нашла свое выражение в т.н. тезисе об основании (*Satz vom Grund*) – *nihil est sive ratione*. Кант показал, что сама эта идея принадлежит рассудку и справедлива только в области феноменальной, а не ноуменальной. Принципиальная непознаваемость вещи в себе приводит к переносу внимания философии с объекта на субъект познания, в познавательной деятельности которого объект только и может быть конституирован.

В статье «Возникновение герменевтики» В.Дильтей указывает на то, что герменевтика Шлейермахера сформировалась под влиянием интерпретации художественных произведений античности И.И.Винкельмана и исследований И.Г. Гердера в области философии истории, филологии и фольклора, а также филологических трудов Фр.Авг.Вольфа²³. К названным следует добавить имя герменевта Фр.Аста. Не останавливаясь на учениях Винкельмана и Гердера, которые во многом сформировали взгляды той эпохи, пробудив в ней интерес к духу античности и историческому подходу в изучении мировой культуры, кратко остановимся на деятельности Вольфа и Аста, т.к. сам Шлейермахер упоминает эти имена в своих академических речах 1829 г., которые озаглавлены: «О понятии герменевтики в связи с идеями Фр.Авг.Вольфа и

²³ *Dilthey W. a.a.O., S.326ff.*

учебником Аста» (Über den Begriff der Hermeneutik, mit Bezug auf F.A.Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch).

Фридрих Август Вольф – филолог-классик, исследователь Гомера. Его герменевтическая концепция была опубликована в 1831г. в рамках «Лекций о науке древности». Но еще в 1807 г. часть его идей была опубликована в первом томе журнала «Музей науки древности», который был посвящен Гёте.

Фридрих Аст – герменевт, филолог и философ (ученик Шеллинга). Учебник, о котором говорит Шлейермахер, называется «Основные направления грамматики, герменевтики и критики» (Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik, 1808). Основное понятие его герменевтической концепции – понятие духа, который Аст называет «вечным животворным принципом». Целью герменевтического анализа является приобщение к духу, внешней формой выражения которого является текст. Процесс понимания движется по кругу, в котором целое (das Ganze) понимается из анализа частей (das Einzelne), а единичное только в связи с целым.

Фридрих Даниель Эрнст Шлейермахер родился в г.Бреслау (ныне г. Вроцлав) 21 ноября 1768 г. в семье реформатского пастора. Кроме Фридриха в семье было еще трое детей (младшая сестра Каролина Мария умерла в 1781 г.). Пастором был и дед Шлейермахера Даниель (р. в 1695 г. – свое второе имя Шлейермахер получил в его честь), который долгое время был приверженцем религиозной секты пиетистов²⁴.

²⁴ Пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – религиозно-мистическое учение среди лютеран и кальвинистов Зап.Европы в конце 17 и первой половины 18 в., возникший первоначально в Нидерландах и Германии.

Отец Шлейермахера Готлиб Адольф (1727–1794) был гарнизонным священником на службе прусского короля Фридриха Второго. Он участвовал в Семилетней войне и, женившись на Катарине Марии Штубенраух, переселился в Бреслау, где и родились их дети.

В последний период жизни отец Шлейермахера был близок к религиозному движению гернгутеров²⁵.

Поскольку отец был в постоянных разъездах по гарнизонам Силезии, воспитанием детей занималась мать. Начальное образование Шлейермахер получает во Фридрихшуле в Бреслау.

В 1778 г. мать переезжает в город Плес (Верхняя Силезия). После двухгодичного перерыва Фридрих возобновляет школьные занятия и в 14-летнем возрасте отправляется в гернгутерскую гимназию в Ниски близ Гёрлица. Обучение в гимназии было очень плодотворным как для пополнения образования, так и для становления личности. В гимназии царили творческая атмосфера и индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Уезжая в Ниски, Шлейермахер не мог еще знать, что больше никогда не увидит своих родителей: мать умерла спустя несколько месяцев после его отъезда, а с отцом по разным причинам он так никогда больше и не виделся.

В 1785 г. Шлейермахер переходит в семинарию в г. Барби на Эльбе близ Магдебурга. Это время Шлейермахер вспоминает с сожалением. Узость взглядов и мелочный надзор были препятствием в его духовном развитии. Произведения Канта, о которых тогда так много говорили, читать не дозволялось. Семинаристы доставали его произведения из-под полы и тайно читали их. Духовная несвобода семинарии и слабый уровень образования только разожгли в Шлейерма-

²⁵ *Гернгутеры* – остатки секты богемских братьев, поселившиеся в Германии.

хере жажду знаний. Он обращается в одном из писем к отцу с просьбой позволить ему изучать богословие в университете. Заручившись согласием, он покидает Барби и отправляется в Галле, где в 1787 г. поступает на богословский факультет и живет у своего дяди Штубенрауха.

Приступив к учебе, Шлейермахер уже хорошо знал древние языки, увлекался философией. В университете он посещает лекции не только по богословию, но по философии и филологии.

Широта интересов и глубина познаний всегда будут отличать его как ученого. В архиве Шлейермахера содержатся примечания к 8 и 9 книгам Никомаховой этики Аристотеля и перевод обеих книг, которые были сделаны им в этот период. Тогда же он пишет работу «О высшем благе», в которой полемизирует с практической философией Канта.

После сдачи первого государственного экзамена Шлейермахер уезжает в Шлобиттен (Восточная Пруссия), где устраивается воспитателем в дом графа Фридриха Александра Дона, не прерывая при этом своей научной работы. В то время он наносит визит Канту. Из-за разногласий с графом по педагогическим вопросам он уезжает, останавливается сначала у дяди в Дроссене, а затем переезжает в Берлин, где поступает на курсы подготовки школьных учителей. Помимо работы о преподавании истории, он занимается учением Спинозы и пишет сочинение «Спинозизм: краткое изложение системы Спинозы».

Сдав второй государственный экзамен, он уезжает в город Ландсберг ан дер Варте, где становится помощником проповедника И.Л.Шумана. Здесь он переводит английских богословов Ф.Блэра и Й.Фоссета. После смерти Шумана Шлейермахер получает должность проповедника в Берлине.

В круг его обязанностей входит окормление реформатской общины в берлинской больнице Charité. Шлейермахер

ведет уединенный образ жизни, оставляя время на занятия. Круг его знакомых ограничивается коллегами.

Важным событием первого берлинского периода его жизни стало знакомство с Фридрихом Шлегелем (1772–1829), который вовлек Шлейермахера в романтизм. Шлейермахера как писателя и ученого тогда еще почти никто не знал, а Шлегель, который был на пять лет моложе, уже успел прославиться.

Интенсивное общение двух друзей продолжалось почти два года. Одно время Шлегель жил у Шлейермахера. Он всячески пытался приобщить Шлейермахера к литературному труду. Шлейермахер не только сотрудничал в журнале «Атеней», который издавался Шлегелем, печатая под псевдонимом статьи и рецензии, но и редактировал его последний выпуск.

Шлегель вдохновил Шлейермахера на перевод сочинений Платона. К этому проекту сам Шлегель вскоре охладел, так что Шлейермахеру пришлось работать в одиночку. Но он все-таки довел это многотрудное дело до конца! И до сих пор перевод Шлейермахера считается самым авторитетным в Германии. Кроме того, Шлейермахеру принадлежит оригинальная трактовка платоновской философии. В 1800 г. выходят «Монологи».

Когда после выхода в свет романа «Люцинда» Шлегель стоит под огнем критики, Шлейермахер приходит на помощь своему другу и публикует «Доверительные письма о Люцинде», в которых формулирует свое понимание брака.

Высшим достижением Шлейермахера в тот период стали его «Речи о религии» (точное название «О религии. Речи к образованным среди ее гонителей»). В этом произведении, состоящим из пяти речей, Шлейермахер дает новое, романтическое представление о сущности религии, ее

истории, формах и подступает к вопросу о личности Христа. Обращены речи к людям образованным, т.е. просвещенным.

Дело в том, что в то время в Германии разгорелась дискуссия об атеизме (т.н. *Atheismusstreit*). Многие образованные люди гордились своим атеизмом, считая его признаком свободомыслия. Это-то и удручало Шлейермахера. Дискуссия возникла в связи с внедрением философско-просветительских идей в вопросы религии и ее догматов. Сначала Кант, а вслед за ним Фихте обосновывали религию с позиций разума, подчиняли Божественное человеческому. Вместо того, чтобы укрепляться и подниматься в вере, образованные люди начинали судить о ней свысока и насмехаться над ней.

Против этого поднялся Шлейермахер в своих речах. Там он отделяет религию от метафизики и морали, которые онтологически вторичны по отношению к ней. Религия есть понятие мистическое и заключается «в чувстве и созерцании бесконечного», неком подобии *unia mystica*, мистического единства. Религиозные догматы и благочестивые поступки в религиозном отношении обосновываются этим чувством и являются по сравнению с ним вторичными.

В 1802 г. Шлейермахер покидает Берлин и уезжает в г. Штульп (Померания). Его отъезд обусловлен как личными обстоятельствами, так и разногласиями в среде романтиков, в частности переездом Фридриха Шлегеля и его жены Доротеи Фейт в Иену к Августу Шлегелю. Там Шлейермахер много работает над переводами Платона (в 1804 г. выходит первый том с программным введением), пишет научное сочинение «*Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre*», рецензирует работы Шеллинга, пишет работы о протестантской церкви и разногласиях внутри протестантизма.

В 1804 г. он вновь приезжает в Галле, где получает должность сначала экстраординарного, а с 1806 г. ординарного профессора богословия и философии. Здесь раскрывается широта его научного кругозора. Он читает лекции по систематическому богословию, методологии церковной истории, христианской и философской этике, герменевтике. Такая напряженная преподавательская деятельность поглощала массу времени и сил, но, несмотря на это он все же продолжает работать над переводом Платона.

К этому периоду относится и его работа по экзегетике и критике текста: «О так называемом первом Послании Павла Тимофею». В этом сочинении он оспаривает подлинность этого текста и выдвигает положение о том, что канонические тексты подчиняются тем же методам интерпретации и критики текста, что и всякие другие.

После поражения Пруссии под Иеной и Ауэрштедтом (1806 г.) и последовавшем закрытии университета в Галле, Шлейермахер, оставшись без места и практически без средств к существованию, переезжает в Берлин, где проводит последний период жизни.

В Берлине, что добыть средства к существованию, он читает вынужден читать лекции у себя дома, и только благодаря протекции В.фон Гумбольдта ему удается как-то устроить свою жизнь.

Шлейермахер помогает Гумбольдту готовить открытие берлинского университета. Он разрабатывает идею университета, согласно которой новый университет должен стать не только образовательным учреждением, а воплотить «идею науки», подготавливая студентов к собственным научным изысканиям. После открытия университета (зимний семестр 1810/11гг.) Шлейермахер занимает должность профессора богословия и избирается первым деканом богословского факультета.

Годом ранее он становится проповедником в церкви Св.Троицы в Берлине, прихожанами которой являются как лютеране, так и реформаты.

В 1809 г. он (ему уже 40) женится на Генриетте фон Виллих, которая родила ему четверых детей.

Третьей сферой общественной и научной деятельности Шлейермахера стала его работа в Королевской академии наук (философская и историко-филологическая секции). За весь период работы в академии им прочитано около 60 докладов по вопросам этики, эстетики, истории философии, герменевтики.

Несмотря на то, что в числе его философских «конкурентов» были Фихте и Гегель, Шлейермахер становится секретарем философской секции, а его лекции по философии собирают многочисленную аудиторию.

В 1821/22 гг. Шлейермахер публикует свой главный богословский трактат – «Систематическое изложение христианской веры в соответствии с догматами евангелической Церкви». («Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt»), в которой он обосновывает введенную в 1817 г. унию между лютеранами и реформатами. Эта книга, по поводу которой разгорелась жаркая дискуссия, является весьма авторитетной в протестантизме и сегодня.

Шлейермахер не стоял в стороне и от национально-освободительного движения немцев против Наполеона. Он участвует в подготовке народного восстания против французских войск, совершает поездки в Кёнигсберг, тогдашнее прибежище прусского двора, где встречается с видными деятелями немецкого сопротивления.

После разгрома Наполеона, когда в Европе усилилась реакция, отношения Шлейермахера с властями начинают

ухудшаться. Особенно напряженной становится обстановка после убийства писателя Августа фон Коцебу студентом Зандом в 1819 г. В кругу Шлейермахера проходят аресты. Сам Шлейермахер считается персоной политически неблагонадежной. Только в последние годы жизни Шлейермахеру удается реабилитироваться.

Его усилия направлены в эти годы на развитие и укрепление унии между церквями, разработку новой церковной конституции и на реформу богослужения.

Шлейермахер никогда не был «кабинетным» ученым. Он активно вмешивался в жизнь, много преподавал. Последнюю свою проповедь он прочитал 2 февраля 1834 г. Через несколько дней он заболел воспалением легких и умер 12 февраля 1834 г. Траурная церемония состоялась 15 февраля при большом стечении народа. Шлейермахер похоронен на кладбище церкви Св.Троицы.

Когда мы говорим о «Герменевтике» Шлейермахера, то не имеем в виду цельного авторского текста. Такой книги он никогда не писал. Предлагаемая читателю книга объединяет несколько текстов, часть из которых принадлежит лично автору, а часть составлена по записям его учеников. Однако и с текстами, восходящими к самому автору, не все обстоит благополучно. Шлейермахер, обладавший незаурядным ораторским талантом, не имел обыкновения готовить развернутые конспекты своих лекций, а пользовался настолько сжатыми тезисами, что порой они сами требуют герменевтической «расшифровки». А лекции, как свидетельствуют его слушатели, были переполнены как фактическим историческим и литературоведческим материалом, так и философскими обобщениями, поэтому подробно проследить ход его

рассуждений было трудно. Кроме того, произносились они в весьма быстром темпе, что также сказалось на качестве записей. По словам первого издателя «Герменевтики» Фридриха Люке «тот, кто хотел записывать дословно, должен был иметь как проворное перо, так и цепкий слух»²⁶.

Шлейермахер излагал свою герменевтическую концепцию в несколько приемов. Впервые в 1805г., когда появился первый набросок, состоящий из трех страниц предельно сжатого текста. Этот текст получил более развернутую форму в лекциях 1810/11 гг. В 1819 г. появилось т.н. «Краткое изложение» (*kompendienartige Darstellung*), которое вместе с рассуждением о техническом толковании 1826/27 гг. и пометами на полях 1832/33 гг. составляет наиболее полный аутентичный текст. В 1959 г. Х.Киммерле опубликовал рукописные конспекты отдельных лекций специальным научным изданием. При этом, следуя авторитету Дильтея, он исходил из превосходства психологической стороны толкования над грамматической – тезис, которой современной наукой сегодня оспаривается²⁷. Поэтому для настоящего издания был выбран текст, изданный Фр.Люке в 1838 г. и переизданный М.Франком в 1977г. Этот текст содержит как конспекты самого Шлейермахера, так и записи его слушателей, одним из которых был сам Люке. Основу его составляет «Краткое изложение» 1819 г., дополненное лекциями 1826, 1828 и 1832 гг.

Соединение нескольких текстов внутри одного делает все целое композиционно несколько тяжеловесным и рыхлым: одни мысли повторяются многократно, другие же только намечаются и не развиваются в дальнейшем. Кроме того, некоторые частные положения шлейермахеровской герменевтики сегодня устарели. Особенно это касается грамма-

²⁶ *Schleiermacher Fr. Hermeneutik und Kritik*, hrsg. und eingeleitet v. M.Frank, Frankfurt am Main, 1995, S.363.

²⁷ *Szondi a.a.O.*, S.195,196.

тического толкования: как самой научной терминологии, так и вопросов общей теории семантики и синтаксиса. Поэтому здесь мы остановимся только на тех проблемах этой теории, которые, на наш взгляд, оказали влияние на дальнейшее развитие филологической герменевтики.

Шлейермахер называет герменевтику *Kunstlehre*. Этот немецкий композит мы переводим как «учение об искусстве», по аналогии с наукоучением (*Wissenschaftslehre*) Фихте²⁸, хотя этот перевод и передает только часть значения немецкого слова. Шлейермахер, соединяя в одном слове два понятия, указывает тем самым, на двойственность и антиномичность герменевтики. Рассмотрим значение частей этого композита.

Искусство для романтизма – понятие философско-религиозное. Искусство является не просто формой самовыражения художника, а является способом проникновения в бытие, осознанием бессознательного, по Шеллингу. Среди прочих видов познания (в том числе науки) оно претендует на статус высшего философского знания и даже богопознания. Процесс творчества связывает человеческую природу с Божественной, а потому «... религия и искусство также должны совпасть, и нравственное воззрение на искусство заключается именно в том, что оно тождественно религии», — пишет Шлейермахер в «Набросках к этике»²⁹. Следовательно, герменевтика, будучи учением об искусстве, является учением о бесконечном³⁰.

²⁸ Так трактовал его, в частности, Август Шлегель в Берлинских лекциях. (Ср. Pohlheim K. *Der Poesiebegriff der deutschen Romantik*, Paderborn, 1972, S.25).

²⁹ *Schleiermacher Fr.* а.а.О., S.363.

³⁰ Н.О. Гучинская, отделяя филологическую герменевтику от поэтики и стилистики как наук предметно-результативных, намеренно определяет ее как некое художественно-научное действо: как «науку функциональных отношений, метаморфоз и вечного движения». (*Гучинская Н.О. Указ.соч.*, с.20).

Если объект герменевтики – произведение искусства, обладающее бесконечно богатым содержанием, то сам процесс толкования также бесконечен, к окончательному толкованию «можно лишь приближаться». Верно и обратное: «там, где речь далека от искусства, никакого искусства не требуется и для понимания оной»³¹.

Имя существительное «искусство» (Kunst) в данном композите не только объект учения (Lehre), оно, сверх того, определяет особенность и самого учения, которое, по Шлейермахеру, «носит характер искусства». Это значит, что, хотя учение и формулирует правила, но применение правил самим учением не регламентируется. Дело в том, что чисто научное знание никогда не дает понятия о целом, а только о части, и поэтому не может претендовать на познание истины, и тем самым на научность в высшем смысле слова. Чтобы приблизиться к истине, нужно уметь выйти за пределы непосредственной данности, в известном смысле освободиться от логики, диктуемой частным знанием, и увидеть часть в свете целого. Такой переход необъясним чисто логически, т.е. он всегда рационально парадоксален, если исходить из части, но закономерен, если исходить из целого. Поэтому настоящая герменевтика всегда связана с научным прозрением и есть интуитивная наука³². С этим связано учение Шлейермахера об интуитивном методе толкования (divinatorische Methode), который он называет также пророческим (prophetisch). Он заключается в том, что толкователь «как бы превращается» в того, чью речь он толкует и пытается созерцать его индивидуальность непосредственно³³. Но в силу ограниченных возможностей нашей интуиции ее сле-

³¹ *Schleiermacher Fr.* а.а.О., S.76.

³² *Гучинская Н.О.* указ.соч., с.24.

³³ *Schleiermacher Fr.* а.а.О., S.169.

дует всегда дополнять т.н. сравнительным методом (*komparative Methode*), при котором индивидуальность одного автора³⁴ познается на основании ее сравнения с другими индивидуальностями. При этом данные научного анализа и интуитивного созерцания в идеале должны совпадать.

Поскольку понимание есть не начало герменевтического процесса, а должно возникнуть в его результате, герменевту следует в начале анализа исходить из предпосылки непонимания текста. В этом постулате не только проявление сократической иронии, но методологическое отличие Шлейермахера от прежней традиции, в частности, от Бл.Августина. По Августину, толкование следует применять только в случае появления непонятных мест. Шлейермахер говорит, что непонимание трудных мест является следствием непонимания мест более легких. Дело в том, что само понимание Шлейермахер мыслит иначе. Правильно понять отдельное место текста можно только в связи с целым текстом: необходимо проследить, какую роль отдельное место играет в общей композиции произведения, как оно возникает из предыдущего и как вливается в последующее изложение. Понимание связано для него с идеей генезиса индивидуального творческого процесса. При генетическом подходе мы рассматриваем всякий элемент как необходимо развивающийся из предыдущего. Следует понять произведение как часть этого процесса и понять закон, по которому оно возникает из этого целого.

Когда у автора возникает художественный замысел создания произведения, он есть еще некое неразложимое духовное единство. По мере реализации этого замысла, т.е. его

³⁴ Шлейермахер настаивает на гомогенности письменной и устной речи. Так, например, он возражает против противопоставления устной и письменной речи апостолов. (Ср. *Schleiermacher Fr. a.a.O.*, S.86).

воплощения сначала в мыслительную, а затем и языковую оболочку, эта цельность дробится на части, что выражается, например, в растождествлении формы и содержания, но цельность, по мнению Шлейермахера, не исчезает целиком. Чем сильнее первоначальный духовный импульс, тем крепче единство частей.

При первом прочтении мы понимаем только языковое значение элемента, но еще не полностью можем понять контекстуальное, т.е. значение части внутри целого – то, что современная лингвистика текста называет смыслом. Высшим родом смысла в художественном тексте является его духовный смысл – искомое целое. Этот смысл мы сможем постигнуть двумя путями. Либо мы должны начать движение по тексту вспять, связывая всякий последующий элемент с предыдущим. Достигнув таким образом начала текста, следовало бы перейти к аналогичному анализу медитации (Meditation) автора, а от нее к анализу изначального импульса (Keimentschluss), который, в свою очередь, происходит из совокупной жизни автора. Понятно, что такой анализ был бы бесконечным. Но даже если предположить, что мы и смогли бы достичь искомого начала, то оно, как показал И.Кант в анализе телеологических суждений, предстало бы перед нами в качестве предельной и потому необъяснимой данности и проблему бы не прояснило. Познать само начало можно только, выйдя за его пределы, заняв по отношению к нему такую позицию, при которой это целое стало бы частью, т.е. мы должны были бы созерцать его с позиций более высокого единства. Но это возможно лишь тогда, когда мы сами положим его. И в этом смысле высшим познанием является творчество. Поэтому генетическое исследование дополняется творческой интуицией (Divination).

Второй элемент композита – Lehre (учение). Шлейермахер хочет свести герменевтику к общим положениям, и вмес-

то «множества специальных герменевтик» создать общую науку, базирующуюся на универсальном принципе, который бы связал все частные герменевтики друг с другом. Этот принцип по сути картезианский. Как для Декарта *cogito* было абсолютным и универсальным условием обнаружения собственного существования, так для Шлейермахера таким принципом стало понимание (*Verstehen*) как чистая форма, объединяющая разнообразные содержания. Полагание акта понимания как исходного стало началом развития собственно философской, т.е. трансцендентальной герменевтики, которая разрабатывает саму теорию понимания и выясняет условия его достижения. Высшей точкой философской герменевтики стало рассмотрение М.Хайдеггером понимания как экзистенциала *Dasein* в «*Sein und Zeit*».

Универсальность понимания для Шлейермахера исчерпывается одним-единственным законом: целое понимается из частей, а часть только в связи с целым. Этот принцип обычно называют герменевтическим кругом, хотя сам Шлейермахер этим термином в своей книге не пользуется. При анализе мы достигаем первоначального понимания целого из первого общего обзора, т.е. имеем целое не как известное, а только в интуитивном созерцании. Как известное мы получим его только после анализа каждой отдельной части. Общий герменевтический закон существует в форме двух канонов. Они сформулированы для грамматического толкования, но по аналогии применимы и к психологическому.

Согласно первому канону мы должны понимать речь на фоне языковой области, близкой автору и первоначальному читателю. В качестве целого здесь выступает языковая область, а в качестве части – авторская речь (текст). Это внешний по отношению к тексту герменевтический круг, его парадигматика. Второй канон гласит, что смысл каждого

слова в контексте определяется его связью с другими словами. Этот круг существует уже внутри самого текста: целым является контекст, а частью – отдельное слово, реализующее внутри текста свои окказиональные значения. Этот канон выделяет синтагматический аспект построения текста. Диалектика части и целого исчерпывает содержательную сторону герменевтического учения, ибо остальные правила суть вариации общего исходного принципа. Простота и ясность научного принципа, лежащего в основе герменевтики, позволяют ей быть свободным и естественным методом толкования. Богатство герменевтического анализа идет не от разветвленности его теории, а от самого объекта – творческой речи, которая всякий раз задает и, можно сказать, создает свой метод. Насколько разнообразен мир искусства, настолько разнообразна и реализация его анализа. Метод диктуется объектом исследования: *scriptura sui ipsius interpretet*.

Будучи по содержанию синтезом науки и искусства, формально герменевтика является синтезом нескольких наук: диалектики – науки о единстве знания, грамматики – общей науки о языке, риторики – науки об искусстве речи и критики как науки об определении подлинности текстов, т.е. есть для него синоним творческой филологии.

Эти науки объединяются и используются герменевтикой для познания истины (смысла), т.е. они уже не самоценны и самодостаточны, а являются средствами для достижения цели. Наука перестает быть схоластикой и вновь превращается в метод, т.е. возвращается к своему естественному предназначению: направленности на объект. Общая герменевтика по отношению к конкретному объекту всегда переходит в свою противоположность – герменевтику специальную: она всегда проверяет свой подход в анализе конкретного текста.

Объектом герменевтики является творческая, т.е. в изначальном смысле поэтическая речь. Это, как было сказано

выше, априорное условие герменевтического анализа. Но почему Фр.Шлейермахер говорит о речи, а не о тексте?

Во-первых, это объясняется его концепцией генетического развития текста из устной речи. По отношению к Библии и, в частности, Новому Завету эта проблема получает особую актуальность. Как соотносятся между собой устное Предание и Писание? Согласно концепции Шлейермахера, в основании Писания лежит устное Предание, т.е. устные рассказы о жизни и учении Христа, которые постепенно записывались по-еврейски (или по-арамейски), и только потом были переведены на греческий язык³⁵. Писание как канонический текст есть результат церковной фиксации устного Предания, являясь этапом его усвоения. В связи с этим, Шлейермахер предлагает не статуйровать различие между устной и письменной речью апостолов³⁶.

Кроме того, Шлейермахер был проповедником, т.е. профессиональным оратором. Герменевтика была для него практическим руководством для понимания чужой и построения собственной речи.

В-третьих, универсальности созданной им науки должен был соответствовать и универсальный объект толкования – совокупная речевая деятельность. В третьих, живая речь для него – стихия поэзии. Он пишет: «Особенно настоятельно хотел бы я посоветовать толкователю письменных произведений основательно поупражняться на значительной беседе. Ибо непосредственное присутствие говорящего, живость выражений, свидетельствующая об увлеченности всей

³⁵ Сходные мысли высказывал и Лессинг, предложивший гипотезу о существовании т.н. «назарейского первоисточника» Евангелий. (*Lessing, Neue Hypothese über die Evangelisten // G.W., Berlin und Weimar, 1968, Bd.8, S.108–128*).

³⁶ *Schleiermacher Fr. a.a.O., S.86*

его духовной сущности, способ развития мыслей из взаимного общения – все это гораздо привлекательней, чем унылое созерцание какого-нибудь изолированного текста, а кроме того, понимание мыслительного ряда как момента бьющей ключом жизни, как деяния, сопряженного со многими другими и совершенно разнородными деяниями, и именно это при объяснении писателей отодвигается назад, именно этой стороной обычно и пренебрегают»³⁷.

В своих воззрениях на живую речь Шлейермахер следует поэтической теории языка, разработанной в Германии И.Г.Гаманом и И.Г.Гердером, продолженной в трудах романтиков и В.фон Гумбольдта³⁸, который трактовал язык в его истинной сущности как работу духа, энергейю, т.е. как поэзию. Дух проявляется в живой речи как непрерывный процесс языкотворчества.

Каждый единичный речевой акт меняет языковое целое. Но ценность актов речи неодинакова. Ценность одних актов речи для языка максимальна, других – минимальна: последние, не прибавляя к языку ничего нового, а только повторяя уже известное, служат для сохранения языковой субстанции, которая, как указывает Шлейермахер, существует за счет такого повтора. Большинство же речей располагается между этими двумя полюсами. Но изучать живую речь, можно только непосредственно участвуя в ней, иначе она неуловима. Поэтому герменевтика вынуждена обращаться к текстам.

Кроме того, текст конденсирует творческие особенности речи. Творчество в речи проявляется случайно, неоргани-

³⁷ *Schleiermacher Fr. Hermeneutik Nach ein Handschriften neu hrsg. und eingeleitet v. H.Kimmerle, Heidelberg, 1959, S.131.*

³⁸ *Гучинская Н.О. К построению поэтической теории языка // Studia linguistica, 1997, СПб., с.109.*

зованно, т.к. речь произносится, как правило, с прагматической, т.е. внешней целью. В тексте, прежде всего, художественном предметом и целью является само творчество, что выражается в закономерности следования элементов текста друг за другом – композиции. Текст – это речь, обладающая композицией. Поэтому, говорит Шлейермахер, всякая речь должна стремиться стать текстом, который, в то же время, рассматривается им как художественное высказывание. Текст может перерасти в произведение (Werk), высшей формой которого является произведение всей жизни (Lebenswerk). Так возникает цепочка: Rede – Text – Werk – Lebenswerk.

Главным текстом для Шлейермахера была Библия. Поэтому все свои положения и наблюдения по теории общей герменевтики Шлейермахер применяет к ней. Но Библия – текст сакральный, и возникает вопрос, не требует ли он специальной сакральной герменевтики, как предлагал Данихауер. Так возникает проблема статуса сакрального текста внутри общей теории герменевтики. По отношению к Новому Завету Шлейермахер действительно настаивает на специальной герменевтике, однако не в связи с его сакральностью, а в связи с уникальным сочетанием греческого и еврейского языка внутри этого текста. Родным языком апостолов (за исключением, возможно, Луки) был еврейский, а писать им приходилось по-гречески. В этом и состоит «специальность» герменевтики Нового Завета. Что же касается сакральности, т.е. богодухновенности, то этот вопрос связан с проблемой авторства Библии. Кто автор Библии – Бог или человек? Если автор – Святой Дух, и Библия написана под Его «диктовку», то роль пророков, апостолов и всей Священной истории, говорит Шлейермахер, равна нулю. Кроме того, как объяснить в этом случае расхождения в Священных книгах? Приписать ошибки Святому Духу невозможно. Но в таком случае саму идею богодухновенности надо по-

нимать иначе. Писание имеет двойственное, Божественно-человеческое происхождение. Оно есть выражение Божественного Откровения с помощью форм человеческого языка, который для выполнения этой задачи должен был высвободить свою потенциальную энергию, т.е. стать поэзией в изначальном смысле этого слова. Сакральность для Шлейермахера была, таким образом, синонимом высшей поэтичности, т.е., если пользоваться его терминологией, между понятием художественность и сакральность существует количественное, а не качественное различие. Если придерживаться этой логики, то поэзией в высшем смысле слова является Библия. А если, следуя указанной теории, предположить, что поэзия есть квинтэссенция всякой речи, то Библия, стало быть, может служить эталоном для толкования любого другого текста.

Всякий поэтический текст есть духовно-словесное единство, т.е. функционирует и по художественным, и по языковым законам. В соответствие с этим Фр. Шлейермахер выделяет две стороны толкования: грамматическую и психологическую (техническую).

Толкуя текст грамматически³⁹, мы рассматриваем его как языковое обозначение (*Sprachbezeichnung*), в связи с языковой областью (*Sprachgebiet*). Согласно поэтической теории языка всякое творческое словоупотребление видоизменяет язык, и цель грамматического толкования состоит в том, чтобы увидеть текст как видоизменение языка (*Modifikation der Sprache*). Видоизменение толкуется Шлейермахером как развитие. Идея развития соотносится с идеей единства смысла, которое мы рассмотрим здесь на примере двух явлений – единства слова и единства значения.

³⁹ В разделе о грамматическом толковании Шлейермахер формулирует основы герменевтической теории языка, т.е. языка как формы толкования бытия.

Если собрать все известные значимости одного слова воедино, то мы получили бы определенное множество (Vielheit). Это множество отражало бы наше знание о слове, мере его познанности. Но полного знания о слове мы достигли бы только тогда, когда собрали и обобщили все значимости слова. В этом случае перед нами было бы единство (Einheit), которое означало полное объяснение значения данной лексической единицы. Но такого знания, говорит Шлейермахер, собрать невозможно. Его не собрать в древних языках, ибо знание о них ограничено: древняя литература дошла до нас фрагментарно, а живой речи мы не имеем. Его не собрать и в новых языках, т.к. развитие в них еще продолжается. Все значимости одного слова в совокупности отражают развитие языка, выявление его духовного смысла.

Это развитие представляется как приобретение словом несобственного значения, т.е. как метафорический процесс.

Метафоризация есть средство развития языковой системы, подтверждение поэтического происхождения и поэтической сущности языка. Метафора возникает из параллелизма представлений, когда представления из одного ряда вплетаются в другой. Обычно для переноса используются представления, характеризующие внутренний мир человека и внешний мир – природный. Шлейермахер говорит о параллелизме между «областью этики и областью физики», т.е. духом и материей. Но воззрение на метафору сочетается у него с идеей единства смысла. Он считает, что различие между собственным (eigentliche Bedeutung) и несобственным значением слова (uneigentliche Bedeutung) «при ближайшем рассмотрении исчезает» (verschwindet bei der näheren Betrachtung)⁴⁰. Всякое слово обладает языковой (Sprachwert)

⁴⁰ Szondi P. Schliermachers Hermeneutik heute, In: Schriften II, Frankfurt am Main, S.120–122.

и речевой (локальной) значимостью (Lokalwert). Каждая новая локальная значимость отражает развитие языковой системы. Употребляясь в речи, языковая значимость видоизменяется. При этом новая значимость может следовать из прежней, быть ее развитием, а может противопоставляться ей. В первом случае мы имеем дело с последовательным переходом, а во втором – с диалектическим противопоставлением.

Свою теорию он поясняет следующим примером. Греческое слово ἡ δικαιοσύνη, означавшее в Ветхом Завете «справедливость, законность», в Новом Завете стало обозначать «праведность». Мы можем рассматривать идею праведности как естественное развитие идеи справедливости, а можем считать, что новая значимость есть идея исключительно новозаветная, противостоящая старой идее и отменяющая таковую. В первом случае мы сказали бы, что Ветхий Завет естественно продолжен в Новом. Иудеи воспринимали появление новой значимости слова по отношению к своим привычным представлениям как несобственное значение слова, иносказание, метафору. Христиане же видели в ней собственное, прямое значение. Отношение собственной и несобственной значимости представляется Шлейермахеру, стало быть, как раз обратным: слово, исторически развиваясь, стремится к своему обновленному, духовному, следовательно, именно к собственному значению, преодолевая несобственное, временное, «ветхое» значение.

Разрабатывая теорию грамматического толкования, Шлейермахер противопоставляет формальные (formell) и материальные (materiell) языковые элементы. Это противопоставле-

⁴¹ Szondi P. Schleiermachers Hermeneutik heute, In: Schriften II, Frankfurt am Main, S.124–125.

ние соответствует оппозиции синтактики и семантики⁴¹. Формальные элементы связывают либо элементы предложения (предлоги), либо сами предложения друг с другом (союзы). Если мы говорим о материальных элементах, то имеем в виду их значение. Соединение предложений бывает органическим (*organisch*), т.е. внутренним слиянием (*innere Verschmelzung*) соединяемых элементов, и механическим (*mechanisch*), т.е. внешним присоединением элементов (*äußere Aneinanderreihung*) друг к другу. Так, формальный элемент «*weil*» является органическим, ибо связывает части предложения внутренней, причинно-следственной связью, а элемент «*und*» является механическим, т.к. выражает внешние отношения, естественную последовательность событий, не затрагивающую их внутреннюю связь друг с другом. В некоторых языках более развита органическая связь элементов, и эти языки больше подходят для развития логики и аналитических операций. В других языках более развито механическое присоединение. Логика в таких языках развита хуже, но зато они больше пригодны для сообщения нового и исторических описаний. К числу первых Шлейермахер относит греческий язык с его философией и логикой. К числу вторых – еврейский, язык Откровения. Оба вида формальных элементов образуют полюсы противопоставления и могут, следовательно, смешиваться и даже переходить друг в друга. Если переход был бы невозможен, то невозможен был бы и перевод с одного языка на другой, ибо каждый из них сформировал бы определенный и закрытый для другого тип мышления. Но это не так. Переход возможен благодаря тому, что языковые элементы способны либо терять часть своего значения, либо приобретать таковое, т.е. переосмысляться в контексте: органический элемент функционально может становиться механическим, присоединительным и наоборот.

Этот переход связан оппозицией количественного (qualitativ) и качественного (quantitativ) различия. Качественно различаются значения материальных и формальных элементов. Количественное различие связано с интенсивностью значения. Здесь различаются эмфаза (Emphase) и избыточность (Abundanz). Формальный элемент с ослабленным значением в тексте представляет собой избыточность. Например, когда органический союз употребляется присоединительно. А если, например, изначально присоединительный союз выполняет органическую, причинную функцию, то в таком случае наблюдается эмфаза.

Если язык текста был бы нам известен или исчерпывающе познавался в результате грамматического толкования, то сторона психологическая стала бы излишней. Но так как такого знания у нас нет, мы вынуждены дополнять грамматическое толкование психологическим.

Психологическое толкование рассматривает всякий текст как факт в мыслящем (Tatsache im Denkenden), как выражение духовной жизни автора. Строгое различие между психологическим и техническим толкованием провести сложно: они то совпадают, то вновь расходятся (терминология колеблется). Но в некоторых отрывках текста различие между ними прослеживается весьма отчетливо.

Психологическое толкование направлено на момент возникновения замысла (Keimentschluss) и на его связь с жизнью автора, а техническое – на претворение замысла непосредственно в текст. Само понятие замысла является пограничным между психологическим и техническим толкованием: психологическое исследование завершается усмотрением замысла, а техническое начинается с такового. Таким образом, первый вид толкования больше нацелен на авторскую личность, а второй на сам процесс творчества. Полное

изучение текста возможно только в связи с личностью автора – один из постулатов герменевтики.

Этот постулат и поныне вызывает споры. Так, В. Дильтей считал текст исключительно выражением субъективных процессов восприятия и переживаний автора, т.е. толковал процесс творчества с позиций психологизма. С другой стороны, символистская традиция, идущая, в первую очередь, от теоретических построений С. Малларме, провозгласив принцип абсолютности поэзии, признает за текстом и абсолютную автономность, независимость от его автора. Это привело к созданию особого направления в современном литературоведении, основным понятием которого является «écriture», текст, существующий абсолютно, как бы «освободившийся» от своего создателя.

Техническое толкование исследует, как замысел, т.е. первично психологический момент, переходит в медитацию и становится композицией текста⁴². Медитация есть генетическое претворение замысла, т.к. является его внутренним образом в субъекте, а композиция есть его объективное воплощение в тексте. Медитация связана с субъективным познанием предмета, т.е. с представлением, и существует только для автора, а композиция с изложением познанного – для других, т.е. с понятием и языком. Переход от медитации к композиции можно представить как переход от представления к понятию.

Толкуя текст психологически, автор свободен, а толкуя технически – нет: как только замысел начинает продвигаться к композиции, в свои права вступает определенная художественная форма (жанр), трансформирующая замысел по

⁴² Проблема соотношения замысла и текста по отношению к Библии является прямым следствием проблемы богодухновенности Писания, синэргии Божественного и человеческого творчества.

своим законам. Эти законы, например, являются весьма жесткими в классицизме и менее жесткими в романтизме, который тяготеет к смешению жанровых форм. Поэтому герменевтическое толкование, наряду с самим текстом, должно учитывать и литературный жанр, и литературное течение. Шлейермахер пишет: «Относительное противопоставление чисто психологического и технического более определенно можно выразить так: первое в большей степени относится к возникновению мыслей из совокупности жизненных моментов индивида, второе же в большей степени сводится к определенному мышлению и художественному намерению, из коих развиваются ряды».

Таким образом, при толковании учитывается триада: язык–текст–автор. При этом главную роль играет, безусловно, сам текст, собирающий все лингвистические и экстралингвистические элементы в единое целое.

А.Л.Вольский

ВВЕДЕНИЕ

1. *Герменевтика* как искусство понимания еще не существует в общей форме, но только как множество специальных герменевтик.

1. Только искусство *понимания*, но не искусство *изложения* понятого¹. Такое изложение было бы лишь одной специальной частью искусства говорить и писать, которая могла зависеть только от общих принципов.

Герменевтика², если следовать известной этимологии, еще не является научным термином со строго фиксированным значением: а) искусство правильно излагать свои мысли, б) искусство правильно пересказывать чужую речь третьему лицу, в) искусство правильно понимать чужую речь. Научное понятие соотносится с третьим значением, которое выступает в качестве опосредующего между первым и вторым.

2. Но и не только трудных мест на иностранном языке. Знакомство с предметом и языком скорее предполагается. Если налицо и то и другое, то эти места вызовут затруднения только потому, что не были поняты и более легкие. Только художественное понимание постоянно сопровождает речь и текст.

3. Обычно считали, что, следуя всеобщим принципам, можно опереться на здравый человеческий рассудок. Но тогда, следуя частностям, можно опереться на здоровое чувство³.

2. *Всеобщей герменевтике трудно указать ее место.*

1. Какое-то время, впрочем, ее рассматривали в качестве приложения к логике, но стоило в логике отказаться от всего прикладного, этому пришел конец. Профессиональный фи-

лософ не склонен возводить эту теорию, ибо он редко желает понять, сам же полагает, что его не понять невозможно.

2. Благодаря истории и филология стала чем-то положительным. А потому ее подход к герменевтике сводится лишь к сумме наблюдений.

*Добавление*⁴. Специальная герменевтика и по роду, и по языку есть только сумма наблюдений и не удовлетворяет ни одному научному требованию.

Работать на понимание без осознания (правил) и прибегать к ним только в единичных случаях, значит действовать непоследовательно. Обе точки зрения, если не поступаться ни одной из них, следует объединить. Такое объединение произойдет в результате двойного опыта. 1) Даже там, где предполагается, что мы действуем безыскусней всего, часто возникают неожиданные трудности, ключ для разрешения которых лежит в предыдущем тексте. Итак, все побуждает нас со вниманием относиться к тому, что может стать таким ключом для развязки. 2) Если мы повсюду следуем законам искусства, то, в конце концов, будем применять правила бессознательно, не нарушая законов искусства.

3. Т.к. искусство вести речь и понимать ее (в процессе общения) противостоят друг другу, а речь составляет лишь внешнюю сторону мышления, то герменевтику должно мыслить только в связи с искусством, т.е. философски.

Учитывая однако, что искусство истолкования зависит от композиции и предполагает таковую. Параллелизм же состоит в том, что там, где речь далека от искусства, она в нем, чтобы быть понятой, и не нуждается.

4. Речь опосредует общность мышления, и этим объясняется сопричастность риторики и герменевтики друг другу, и их общее отношение к диалектике.

1. Правда, речь опосредует мышление и для одного человека. Мышление получает готовую форму в речи внутренней, и постольку речь есть самой воплощенная мысль. Но когда мыслящий сочтет необходимым закрепить мысль для себя самого, тут-то и возникает искусство речи, преобразование изначального, после чего без истолкования уже не обойтись.

2. Сопричастность герменевтики и риторики состоит в том, что каждый акт понимания является обращением акта речеведения, когда осознается, что за мысль лежала в основе речи.

3. Зависимость обеих от диалектики состоит в том, что всякое становление знания, в свою очередь, зависит от обоих актов (говорения и понимания).

Добавление⁵. Общая герменевтика тесно связана как с критикой, так и с грамматикой⁶. Но поскольку без этих трех дисциплин не только передать, но и удержать знание невозможно, а всякое правильное мышление проявляется в правильном говорении, нужно все три дисциплины напрямую связать также и с диалектикой.

Сопричастность⁷ герменевтики и грамматики основана на том, что всякая речь воспринимается только при условии понимания языка. — Обе имеют дело с языком, что ведет к единству говорения и мышления; язык есть способ для мысли быть действительной. Ибо мысли вне речи не существует. Произнесение же слов связано только с присутствием другого лица и потому случайно. Но никто не может мыслить без слов.

Без слов мысль еще не закончена и не ясна. Но поскольку герменевтика ведет к пониманию мыслимого содержания, а мыслимое содержание действительно лишь через язык, герменевтика, таким образом, основывается на грамматике как знании языка. Если мы рассмотрим мышление в акте языкового сообщения, опосредующего общность мышления, то не обнаружим в этом процессе никакой иной тенденции, кроме как выявить знание в качестве общего для всех. Таким образом,

выясняется общее отношение грамматики и герменевтики к диалектике как науке о единстве знания. – Всякая речь далее понимается либо на основе знания жизни соответствующего исторического сообщества, либо – ее собственной истории. А наукой истории является этика. К тому же и у языка есть своя природная сторона; и различия человеческого духа обусловлены физическим началом человека и тела земли. Стало быть, герменевтика коренится не только в этике, но и в физике. А этика и физика вновь отсылают нас к диалектике как науке о единстве знания.

5. Подобно тому, как всякая речь имеет двойное отношение к тотальности языка и к тотальности мышления своего создателя: так и всякое понимание состоит из двух моментов, понимания речи как вынужтой из языка, и понимания речи как факта в мыслящем.

1. Всякая речь предполагает язык как данность. Правда, это утверждение обратимо, и не только по отношению к самой первой речи, но и по отношению ко всему последующему процессу, ибо язык возникает только через говорение; но сообщение в любом случае предполагает общность языка, т.е. некоторое знание такового. Если между непосредственной речью и сообщением вклинивается нечто, т.е. зарождается искусство речи, то отчасти это связано с опасением, что слушающему в нашем словоупотреблении что-то осталось непонятым.

2. Мышление предшествует всякой речи. Это утверждение также обратимо, но по отношению к сообщению оно остается истинным, ибо искусство понимания начинается только с движения мысли.

3. В связи с этим каждый человек есть, с одной стороны, то место, в котором данный язык принимает самобытную форму, и человеческую речь можно понять только, исходя из тотальности языка. С другой стороны, человек есть по-

стоянно развивающийся дух, и его речь можно истолковать только как факт⁸ духовного развития, взаимодействующий с прочими.

Единичный субъект обусловлен в своем мышлении (общим) языком и может мыслить лишь те мысли, которые уже имеют в языке свое обозначение. Новую мысль нельзя было бы выразить иначе, как соотнеся ее с уже сложившимися языковыми отношениями[обозначениями?]. Это утверждение зиждется на том, что мышление есть внутреннее говорение. А из этого положительно следует, что язык обуславливает развитие мышления единичного субъекта. Ибо язык есть не только комплекс разрозненных представлений, но и система их родства. Ведь они связаны словесными формами. Всякое сложное слово представляет собой некое родство, причём каждый начальной и конечный слог обладает самобытным значением(модификацией). Но система модификаций в каждом языке разная. Если мы сделаем язык нашим объектом, то обнаружим, что все акты говорения суть лишь способ, каким язык проявляет самобытность своей природы, и каждый единичный субъект является лишь местом, в котором язык являет себя, подобно тому, как мы, изучая известных писателей, обращаем наше внимание на их язык и видим особенности их стиля. – Также и всякую речь надлежит понимать только в связи со всей жизнью, к которой она относится, т.е., поскольку всякая речь познается только как жизненный момент говорящего и обусловлена всеми остальными жизненными моментами, а они, в свою очередь, получают определение из совокупности своего окружения, на основе которого определяется его развитие и дальнейшее бытие, то, стало быть, и всякого говорящего можно понять только на фоне его национальности и эпохи.

Понимание есть лишь⁹ взаимопроникновение этих двух моментов (грамматического и психологического).

1. Мы не сможем понять речь как факт духа, пока не поймем ее как языковое обозначение, ибо укорененность в языке устрояет дух.

2. Речь непонятна и как устройство языка, если она не понята как факт духа, ибо в духе заключена основа всякого субъективного влияния на язык, кой осуществляет себя только в речевом процессе.

7. Оба момента совершенно равнозначны, и несправедливо было бы считать грамматическое толкование более низким, а психологическое более высоким.

1. Психологическое толкование является более высоким, если мы рассматриваем язык лишь как средство, с помощью которого человек передает свои мысли; грамматическое толкование сведется в этом случае к простому устранению первоначальных трудностей.

2. Грамматическое толкование является более высоким, если мы рассматриваем язык как условие мышления всех единичных субъектов, конкретного же человека как вместилище языка, а его речь только как то, в чем язык себя раскрывает. Тогда психологическое толкование будет всецело подчиненным, равно как и бытие единичного человека вообще.

3. Из этой двоичности само собой вытекает полное тождество.

Что касается критики, то в ней есть словоупотребление более высокое и более низкое. Имеется ли это различие и в герменевтической области? И какая из обеих сторон какой подчиняется? Задача понять речь в ее отношении к языку может быть в известном смысле решена механически, т.е. сведена к расчетам. Ведь раз есть трудности, то их можно рассматривать как неизвестные величины. Вопрос приобретает математический, т.е. механический характер, т.к. я свел его к расчетам. Не будет ли это как механическое искусство толкованием более низкого, а та сторона, которая основана на созерцании живых существ, ибо индивидуальности не сводимы к числу – толкованием более высокого уровня? Но поскольку, со стороны грамматической,

отдельный человек есть место, в коем язык являет себя как нечто живое, то она, по-видимому, подчинена психологии; мышление индивидуума обусловлено языком, а сам он – собственным мышлением.

Задача понимания его речи включает в себя, стало быть, оба момента, но понимание языка главенствует. Если мы теперь рассматриваем язык как возникающий в каждом отдельном речевом акте, то он, будучи основан на индивидуальном начале, не подчиняется расчетам; он сам есть индивид по отношению к другим, и понимание языка, в связи с самобытным духом говорящего, есть искусство, как и та другая сторона, а это значит, что обе стороны друг другу тождественны. – Но это тождество опять-таки следует ограничить отдельной задачей. При решении конкретной задачи обе стороны не равны друг другу, ни в отношении их результата, ни в отношении того, что от них требуется. Есть тексты, в которых одна сторона интереснее, чем[15] другая, и наоборот. В ином тексте одна сторона задачи может быть разрешена полностью, другая же – не разрешена вовсе. Например, обнаружен фрагмент неизвестного автора. По нему можно, исходя из языковых особенностей, установить время и место появления произведения. Но только тогда, когда язык позволяет нам с уверенностью установить автора, можно приступить к решению второй задачи – психологической.

8. Решение задачи будет абсолютным тогда, когда каждая сторона будет разработана в отдельности так, что разработка другой стороны не вызовет никакого изменения в результате, или, если каждая сторона, будучи разработана отдельно, полностью заменит другую, требующую, в свою очередь, не менее тщательной разработки.

1. Эта двойственность необходима, даже если каждая сторона заменяет другую согласно п.6.

2. Каждая сторона достигает совершенства только тогда, когда она делает другую излишней и вносит свою лепту в конструирование оной, ибо язык можно выучить, лишь по-

нимая живую речь, а внутренний мир человека, как и его манера реагировать на раздражение мира внешнего, в свою очередь, могут быть поняты только через речь.

9. Истолкование есть искусство.

1. Каждая сторона в отдельности. Ибо и та и другая есть конструкция некоего конечно определенного из бесконечно неопределенного. Язык есть нечто бесконечное, ибо всякий элемент в нем особым образом определяем посредством прочих. Тоже самое относится и к психологической стороне. Ибо всякое созерцание индивидуального – бесконечно.

И внешние воздействия на человека также суть нечто постепенно бесконечно убывающее. Такая конструкция не может быть задана правилами, которые обеспечивали бы и их применение.

2. Если грамматическую сторону возможно было завершить отдельно, понадобилось бы совершенное знание языка, а в другом случае – полное знание человека. Поскольку эти знания никогда не даны одновременно, нужно переходить от одного к другому, а насчет того, как переходить, невозможно дать какие бы то ни было правила.

Занятие герменевтикой в полном объеме надлежит рассматривать как произведение искусства, но не в том смысле, будто оно завершается созданием произведения искусства, а в том, что сама эта деятельность имеет лишь *характер* искусства, ибо в правилах не задано их применение, т.е. оно не может быть механизировано.

10. Успешная практика этого искусства зиждется на языковом таланте и на таланте знания отдельного человека.

1. Под первым талантом мы понимаем не столько легкость в изучении иностранных языков; различие между род-

ным и иностранными языками мы оставляем пока без внимания – сколько само чувство языка, ощущение аналогий и расхождений и т.д. Можно подумать, что как раз вследствие этого риторика (грамматика) и герменевтика всегда должны были бы существовать вместе. Однако подобно тому, как герменевтика требует еще и другого таланта, так и риторика (грамматика)¹⁰ имеет свой собственный, от герменевтики отличный, языковой талант. Языковой талант, правда, присущ обоим, однако герменевтическое направление развивает его иначе, нежели риторическое (грамматическое)¹⁰.

2. Знание людей совпадает здесь со знанием преимущественно субъективного элемента в комбинации мыслей. Поэтому герменевтика редко сопутствует изображению человека в искусстве. Но множество герменевтических ошибок происходит либо из-за недостатка этого таланта (изображать человека), либо из-за неумения его применять.

3. Насколько эти таланты (до известного предела) суть всеобщие природные дарования, настолько и герменевтика – занятие, доступное всякому.

Насколько ты слаб в одной из сторон, настолько и бездарен, и другая сторона поможет тебе только правильно выбрать из того, что другим удалось в первой.

Добавление¹¹. Избыточный талант необходим не только для трудных случаев, но также и затем, чтобы никогда не останавливаться только перед непосредственной целью (единичного таланта), а, наоборот, чтобы повсюду преследовать цели обоих главных направлений, ср. пп.8 и 9.

Необходимый для герменевтического искусства талант есть талант двойного рода, двойственность которого мы до сих пор не можем облечь в понятийную форму. Если мы могли бы реконструировать каждый язык в его самобытности, понять индивида из языка, равно как и язык из индивида, то тогда можно было бы обойтись одним талантом. Но поскольку ни науке о

языке, ни пониманию индивидуальности такое не по силам, нам следует предположить, что эти два таланта разнятся. – Языковой талант, в свою очередь, также двойственен. Общение между людьми берет свое начало в родном языке, но может распространяться и на другой язык. И в этом состоит двойственность языкового таланта. Сравнительное восприятие языков в их различиях, экстенсивный языковой талант, отличается от проникновения во внутреннюю суть языка, соотносящегося с его мышлением, от интенсивного языкового таланта. А в этом и состоит талант истинного лингвиста. Оба таланта необходимы, но почти никогда не соединены в одном и том же субъекте, и, следовательно, должны дополнять друг друга. Талант знания людей также распадается надвое. Многие зачастую воспринимают отдельные черты других людей, сопоставляя их различия. Сей (экстенсивный) талант может реконструировать и даже легко *предвосхищать* поведение других. Но тот, другой талант, состоит в понимании самобытности человека и его самобытных черт, по отношению к понятию человек. Этот (интенсивный талант)¹² проникает вглубь. Оба таланта необходимы, но редко сопряжены и, следовательно, должны дополнять друг друга.

11. Не всякая речь тотчас становится предметом истолкования. Ценность одних речей для него нулевая, других же – абсолютная; большая их часть располагается между этими полюсами.

1. Нулевую ценность имеет то, что не представляет фактического интереса и не имеет значения для языка. Говорят, потому что язык сохраняет себя, только непрерывно повторяясь. Но то, что повторяет только уже бывшее в наличии, есть само по себе ничто. Разговоры о погоде. Однако этот нуль есть не абсолютное ничто, а только некий минимум. Ибо именно в нем развивается значительное.

Минимум – это повседневная речь делового общения и обыденный разговор в повседневной жизни.

2. У каждой стороны есть свой максимум, в частности, для грамматической стороны – наиболее продуктивное и в наименее повторяющееся, *классическое*. С психологической стороны – наиболее самобытное и наименее банальное, *оригинальное*. Но абсолютна лишь идентичность этих двух, *гениальное* или прообразовательное для языка в процессе мыслетворчества.

3. Классическое должно быть не преходящим, но призвано определять дальнейшее творчество. Точно также и оригинальное. Но также и абсолютное (максимум)¹² не должно быть свободно от определения посредством более раннего и всеобщего.

*Добавление*¹³. Лежащее между максимумом и минимумом стремится к одному из двух; а) к банальному – относительная бессодержательность, изящное изложение; б) к гениальному – классичность языка, не претендующая на оригинальность, и оригинальность в сцеплении (мыслей)¹⁴, не нуждающаяся в классичности.

Цицерон – классичен, но не оригинален; немец Хаманн – оригинален, но не классичен. – Нужно ли пользоваться обоими сторонами герменевтического метода в равной мере? Стоит нам взять классического автора, не обладающего оригинальностью, как психологический процесс тут же лишится прелести, не посмеет быть и востребованным; рассматривать следует только самобытность самого языка. Писатель неклассический создает более или менее смелые комбинации в языке, и здесь следует стремиться к пониманию выражений, исходя из стороны психологической, но не языковой.

12. Если обе стороны (толкования и грамматическую и психологическую) применять повсюду, то всегда в разном соотношении.

1. Подобный вывод следует уже из того, что грамматически незначительное необязательно является психологически

незначительным и наоборот, не из любого незначительного значительное развивается в обе стороны равномерно.

2. Минимум психологического толкования применяется, когда объективность предмета преобладает. (Сюда относится) чистая история, преимущественно подробности, ибо любое целостное воззрение всегда субъективно окрашено. Эпос. Деловые переговоры, которые претендуют войти в историю. Любая дидактика в строгой форме. Во всех этих случаях субъективное применяется не как момент истолкования, а становится результатом такового. Минимум грамматического при максимуме психологического истолкования – в письмах, а именно в подлинных. Чередование дидактического и исторического в них. Лирика. Полемика.

*Добавление*¹⁵. Герменевтические правила должны стать в большей степени методом предупреждения трудностей, нежели руководством по их искоренению.

Герменевтические успехи удачливых исследователей следует рассмотреть (в отдельности). Но теоретический подход не останавливается на частностях, его интересует обнаружение идентичности между языком и мышлением. – В *предупреждении* трудностей при реконструкции речи или хода мысли и состоит задача герменевтики. Однако такую универсальную задачу не решить. Ибо произведения на иностранном языке для нас всегда фрагментарны. Объем материала в различных языках не совпадает. Но знания всей языковой продукции нам всегда не хватает, например, в древнегреческом и древнееврейском. Ни один язык не предстает перед нами в цельности, даже родной. Учитывая это, мы должны конструировать положения герменевтической теории так, чтобы они устраняли не отдельные трудности, а были системой правил и соотносились с задачей в целом. Трудности будут рассматриваться тогда как исключения и требуют иного подхода. При этом мы ставим вопрос о восполнении недостатка, из которого возникают трудности, а

не о (всеобщем) типе, который одинаков в обоих направлениях (грамматическом и психологическом).

*13. В методе толкования нет иного многообразия, кроме вышеназванного*¹².

1. Например, странное воззрение, возникшее из спора об историческом истолковании Н.З., что якобы существует множество способов толкования. Утверждение исторического толкования есть лишь справедливое утверждение о связи новозаветных авторов с их эпохой. (Рискованный термин *исторические понятия*). Однако оно становится ложным, как только вознамерится отрицать способность христианства к созданию новых понятий и все объяснять уже бывшим в наличии. Отрицание исторического толкования справедливо, если оно противодействует односторонности, и ложно, если претендует на всеобщность. Но в таком случае дело сводится к соотношению грамматического и психологического толкований, ибо новые понятия возникают из самобытного душевного возбуждения.

2. В столь же малой степени (многообразие возникает), если историческое толкование понимают только как знание исторических обстоятельств. Ведь это знание есть нечто даже предшествующее толкованию, ибо помогает восстановить связь между оратором и первоначальным слушателем, и, как известно, уточняется заранее.

3. Аллегорическое толкование. Не толкование аллегии, в которой переносный смысл является единственным, неважно, лежит ли в его основании нечто действительное, как в притче о сеятеле, или же выдумка, как в притче о богатом человеке. А такое, в котором прямой смысл вписывается в непосредственный контекст, но, кроме того, предполагается еще и переносный. Нельзя отделаться от него общим положением, согласно которому речь может иметь

только Один смысл, как обычно предполагается грамматикой. Ведь каждый намек есть уже второй смысл, и кто его не воспринимает, хотя и может следовать за общим контекстом, но упускает все-таки один из вложенных в речь смыслов. С другой стороны, тот, кто найдет намек, которого речь не содержала, всегда превратно истолкует ее. Намек возникает тогда, когда в основной мыслительный ряд вплетается одно из сопутствующих представлений, которое, как полагают, также легко может возникнуть и в другом.

Однако сопутствующие представления не просто единичны и незначительны, но как целый мир идеально вложен в человека, пусть даже в виде неясной тени, но мнится им всегда как действительность. Потому и существует параллелизм различных рядов в большом и малом, так что у каждого всегда может возникнуть ассоциация с элементом другого ряда: параллелизм физического и этического, музыкального и живописного и т.д. Обращать на него внимание следует лишь тогда, когда переносные выражения дают для этого повод. На то, что так поступали и без повода, читая Гомера или Библию, есть особая причина. В случае Гомера и В.З. эта причина состоит в единственности первого (Гомера) как общеобразовательной книги, а В.З. как литературы вообще, из которой черпалось все. Добавим к этому мифическое содержание обеих книг, которое, с одной стороны, имеет свое продолжение в гномической философии, а, с другой, – в истории. Однако для мифа техническое толкование неприменимо, т.к. его начало неиндивидуально, и колебание обыденного понимания между прямым и переносным смыслом делает двойственность здесь весьма условной. – С Н.З. дело обстоит несколько иначе, и подход к нему разъясняется двумя причинами. Во-первых, его связью с Ветхим Заветом, из которого такой способ объяснения был заимствован и перенесен на зарождающееся учение толкование. Во-вторых, еще более

развитым, чем в В.З., представлением, рассматривать Святого Духа как автора. Нельзя мыслить Святого Духа как изменяющееся во времени единичное сознание. Отсюда и склонность находить всяческое во всем. Всеобщие истины или единичные определенные предписания удовлетворяют эту склонность сами собой, но в наибольшей степени единичное и незначительное выводит ее из себя.

4. Нам здесь не уйти от вопроса, не следует ли из-за Святого Духа рассматривать Святые книги иначе? Нельзя ожидать в этом случае догматического вердикта о богодухновенности, ибо он сам должен основываться на истолковании. *Во-первых*, не следует постулировать различие между устной и письменной речью апостолов. Ведь будущая церковь должна была строиться на первой.

Но именно поэтому не следует, *во-вторых*, думать, что в Писаниях весь христианский мир выступает непосредственным предметом. Ибо все они обращены к определенным людям и впоследствии могли быть поняты неверно, если бы были неверно поняты ими. А те не могли не желать ничего другого, как только искать в них определенную единичность, т.к. тотальность для них должна была сложиться из множества отдельных частей. Так их и надо толковать, предполагая поэтому, что, будь авторы мертвыми орудиями, Святой Дух говорил бы через них точно также, как они говорили бы сами.

5. Наихудшим отклонением в эту сторону является каббалистическое толкование, которое, пытаясь находить всё во всем, обращается к отдельным элементам и их знакам. – Мы видим, что, если нечто по своему устремлению еще и можно назвать толкованием, то в нем не будет никакой иной множественности кроме той, которая вытекает из различных соотношений установленных нами обеих сторон.

*Добавление*¹⁶. И догматическое и аллегорическое толкование, охотясь за содержательным и значимым, исходят из того, что добыча для христианского учения должна быть как можно богаче и что в Священных книгах ничто не является преходящим или ничтожным.

Опираясь на это положение, и приходят к идее богодухновенности. При всем многообразии мнений на сей счет лучшим средством является проверка того, к каким следствиям приведет самое радикальное из них. Итак, сила Святого Духа действует с момента возникновения мысли до акта ее записи. Но ввиду наличия вариантов это представление нам совершенно не поможет. А таковые, наверняка, существовали уже и до составления Писания. Уже на этом этапе, следовательно, нельзя обойтись без критики. Но также и первым читателям апостольских Посланий пришлось бы отвлечься от мысли об авторах и от знания о них, что вызвало бы величайшую путаницу. Если, в связи с этим, еще и спросят, отчего Писание не возникло совершенно чудесным образом, без участия людей, то следует отвечать, что Дух Божий, очевидно, избрал такой метод (а именно через людей) только потому, что Он пожелал, чтобы все сводилось к определенным авторам.

А потому оно и может быть только правильным истолкованием. Тот же самое касается и грамматической стороны. Но тогда к каждой части следует подходить с человеческой меркой, и действенной силой будет только внутренний импульс. – Прочие представления, приписывающие отдельные частности, например, предохранение от ошибок, Святому Духу, все же остальное – нет, не выдерживают критики. При этом весь процесс представлялся бы затрудненным, а верное и уместное доставалось бы автору в готовом виде. Нужно ли ради богодухновенности всякую часть распространять на всю церковь? Нет. Непосредственные слушатели, как бы ни толковали, все равно истолковали бы превратно, и Святой Дух действовал бы гораздо правиль-

нее, если бы Священные книги не были книгами, написанными по случаю. И так, и в грамматическом, и психологическом толковании продолжают действовать общие правила. А насколько возможна специальная герменевтика Священного Писания покажет дальнейшее исследование.

[В лекции 1832 г. этот пункт разъясняется прямо здесь, и граница между общей и специальной герменевтикой вообще проводится точнее, касаясь в частности Н.З.¹⁷, Шл. говорит:] Если мы вернемся к герменевтической задаче в ее изначальности, а именно к речи как мыслительному акту на данном языке, то придем к положению: в той мере, в какой мышление едино, языки идентичны. Эта область содержит универсальные языковые правила. Но как только в мышлении появляется особенность, выражающая себя в языке, возникает и специальная герменевтическая область. При более строгом определении границ между всеобщим и специальным сначала встает вопрос с грамматической стороны: насколько речь можно считать чем-то единым (единством) по отношению к языку? Речь существует в виде предложения. Только через его посредство нечто в языке приобретает единство. Предложение же есть взаимоотношенность существительного и глагола, *опота* и *гета*. *В той мере, в какой речь понимается из природы предложения, в той мере общая герменевтика идет верным путем. Хотя природа предложения как мыслительного акта во всех языках одна и та же, однако способ употребления предложения везде различен. Чем больше в языках различие в употреблении предложения, тем сильнее ограничена область общей герменевтики, тем большее количество различий попадает в ее область.*

То же самое и с психологической стороны. В той мере, в какой человеческая жизнь едина, всякая речь как жизненный акт подчиняется всеобщим герменевтическим правилам.

В той мере же, в какой человеческая жизнь индивидуальна, каждый жизненный акт и, следовательно, каждый выражающий его речевой акт¹⁸ у каждого устроен по-иному и связан с остальными моментами жизни. Здесь и начинается область специального. Если мы теперь предположим, что все различия челове-

ческой природы в ее жизненных функциях выражаются в языке, то устройство предложения связано, стало быть, с устройством жизненного акта. Это положение имеет силу как для всеобщего, так и для особенного. Соотношение всеобщего и специального однако имеет множество ступеней. Ибо неодинаковость и многообразие способов употребления предложения бывают в различных языковых семьях в свою очередь одинаковыми, так что возникают группы. Это значит, что для каждой языковой семьи может существовать некая объединяющая их герменевтика. Далее мы замечаем, что существуют различные способы употребления языка по отношению к различным мыслительным актам. Так, в одном и том же языке могут возникнуть языковые различия, например, в прозе и в поэзии. В прозе я стремлюсь к строгому определению мышления посредством бытия, поэзия же есть мышление в его свободной игре. Таким образом, в поэзии преобладает психологическое начало, в то время как в прозе субъект в большей степени отступает на второй план. Здесь развиваются две различные области специального, первая, связанная с различием в устройстве языков, вторая, связанная с различием мыслительных актов. - Что касается последней, то при истолковании отдельного писателя всеобщее и особенное соотносятся следующим образом. Насколько мыслительные акты индивида всегда одинаково выражают всю его жизненную определенность и все его жизненные функции, настолько совпадут и законы психологического толкования. Но когда я мыслю нетождество и нахожу ключ не в самом мыслительном акте, а вынужден принимать во внимание еще и нечто другое, тогда уж начинается область специального. Таким образом, область всеобщего не очень обширна. Потому-то герменевтика всегда и начинала со специального, им и ограничиваясь. Если исходить из того, что речь является моментом жизни, то я должен изучить взаимосвязь всех событий и задать вопрос, что подвигло индивида составить данную речь (повод), и на какой следующий момент речь была направлена (цель). Т.к. речь многообразна, то в ней, несмотря на то, что повод и цель остались прежними, может существовать различие. Ее, стало быть, следу-

ет расчленишь и сказать, что всеобщее простирается в ней настолько, насколько законы мыслительного процесса одни и те же, а там, где мы находим различия, начинает действовать специальное. Например, в дидактическом споре и лирическом стихотворении, несмотря на то, что они представляют собой некие мыслительные ряды, законы движения мысли будут различны.

Герменевтические правила по отношению к ним будут также различны, и мы попадаем в область герменевтики специальной.

Теперь на вопрос, является ли и насколько новозаветная герменевтика специальной, ответим так. С языковой стороны она, по-видимому, не является специальной, ибо первоначально соотносится с греческим языком, но с психологической стороны, Н.З. не представляет собой единства, и в нем следует различать дидактические и исторические книги. Они представляют собой различные жанры, которые требуют применения различных герменевтических правил. Однако отсюда еще не следует никакой специальной герменевтики. Если новозаветную герменевтику и признать специальной, то только относительно синтетической языковой области или гебраизированного характера языка. У новозаветных писателей не было привычки мыслить по-гречески, по крайней мере, о религиозных предметах. Исключение составляет Лука, который мог быть урожденным греком. Но сами греки стали христианами на почве древнееврейского языка. Кроме того, в каждом языке существует множество различий, как 43 местных – диалекты в самом широком смысле, так и временных – различные языковые периоды. Язык каждого из них различен. Это требует специальных правил, которые соотносятся со специальной грамматикой различных эпох и местностей. Но область ее применения шире. Ибо если народ духовно развивается, то происходит и новое развитие языка. Как всякий новый духовный принцип становится языкотворческим, так и дух христианства. Но и из этого специальной герменевтике еще не возникнуть. Когда народ начинает философствовать, он выказывает высокое развитие языка, однако не нуждается ни в какой специальной герменевтике. Новый же дух христианства выступает в Н.З. в смешении языков, в котором еврейский язык

образует корень, и все новое осмысливается сначала на нем, а уже потом надстраивается греческий язык. Именно поэтому новозаветную герменевтику следует рассматривать как специальную. Поскольку языковое смешение является исключением, состоянием неестественным, то и новозаветная герменевтика как специальная следует из общей не по правилам. — Вообще, ни естественное различие языков не обосновывает позитивной специальной герменевтики, ибо это различие принадлежит грамматике, которая предваряет герменевтику и лишь применяется ею, ни различие между прозой и поэзией в одном и том же и в разных языках, ибо знание и этого различия предваряется герменевтической теорией. В столь же малой степени специальная герменевтика как таковая необходима и из-за психологических различий, если они вообще равномерно проявляются в относительном противоречии между всеобщим и специальным.

14. Различие между художественным и нехудожественным истолкованием связано не с различием между родным и чужим или речью и текстом, а только с тем, что одно хотят понять точнее другого.

1. Если бы искусство требовалось только для иноязычных и древних текстов, то первоначальному читателю оно бы не было потребно, и искусство зависело бы от различия между ним и нами. Различие это следует, прежде всего, устранить знакомством с языком и историей; и только после такого выравнивания начать истолкование. Различие между иноязычным древним текстом и современным, написанным на родном языке, состоит лишь в том, что данная операция выравнивания не целиком предшествует, но сопутствует истолкованию и завершается одновременно с ним, что всегда следует иметь в виду.

2. И дело не только в тексте. Не то потребность в искусстве объяснялась бы только различием между речью и текстом, т.е. отсутствием живого голоса и недостатком иных

личных воздействий. Последние же сами нуждаются в истолковании, а оно всегда ненадежно. Живой голос, правда, весьма облегчает понимание, пишущий же должен с этим считаться (что он не говорит.) Следуй он этому, то искусство истолкования стало бы излишним, что, однако, не соответствует действительности. Стало быть, даже, если он этому не следует, потребность в искусстве истолкования зиждется не только на этом различии.

*Добавление*¹⁹. То, что искусство истолкования, пожалуй, более соотносится с текстом, нежели с устной речью, происходит от того, что речь, как правило, имеет множество вспомогательных средств, обеспечивающих *непосредственное* понимание, коими текст обделен и оттого, что в текущем речевом потоке – особенно *отдельные правила*, которые и без того трудно запомнить – никак нельзя применить.

3. Если речь и текст так соотносятся друг с другом, то не остается никакого иного отличия, кроме названного выше, и, стало быть, при толковании, соблюдающем законы искусства, мы преследуем ту же самую цель, что и при восприятии обыкновенной речи.

15. Небрежная практика в искусстве полагает, что понимание придет само собой, и формулирует цель отрицательно: должно избегать непонимания.

1. Эта практика исходит из того, что можно де довольствоваться незначительным или, по крайней мере, ограничиться определенным интересом, а потому ставит себе легко достижимые пределы.

2. Но и она в трудных случаях ищет прибежища в искусстве, и таким образом, герменевтика своим происхождением обязана нехудожественной практике. Увлечшись лишь трудными случаями, она и сделалась системой наблюдений и поэтому сразу же герменевтикой специальной, ибо труд-

ные случаи легче распознать в какой-либо особой области. Так возникли богословская и юридическая герменевтика, да и филологов интересовали только специальные цели.

3. Это воззрение основано на идентичности языка и слога говорящего и слушающего.

16. Строгая практика исходит из того, что непонимание возникает само собой, и понимания надо желать в каждой искомой точке.

1. Зиждется на том, что при понимании необходима точность, и речь, будучи рассмотрена с обеих сторон, должна полностью раскрыть в них свой смысл.

Добавление. На опыте проверено, что до наступления непонимания различие между художественным и нехудожественным пониманием незаметно.

2. Она исходит из различия между языком и слогом, которое, однако¹⁴, основано на идентичности, и ускользающее от нехудожественной практики есть лишь малость.

17. Следует избегать двух вещей, качественного непонимания содержания и непонимания интонации, т.е. непонимания количественного.

Добавление. Задачу можно определить и отрицательно: избегать материального (качественного) и формального (количественного) непонимания.

1. При объективном рассмотрении качественной ошибкой будет неправильная постановка на место одного элемента речи в языке другого элемента, когда, например, мы путаем значение одного и другого слова.

При субъективном – качественное непонимание возникает, когда мы ошибочно определяем связи некоего оборота речи, приписывая ему иные отношения, нежели те, которые таковому придавал говорящий в своем кругу²⁰.

2. Количественное непонимание субъективно соотносится с силой воздействия определенного элемента речи, с той значимостью (выделенностью), которую сообщает ему говорящий, – по аналогии объективно, оно соотносится с местом, которое элемент речи занимает в градации, например, превосходная степень.

3. Из количественного непонимания, которое обычно недооценивают, всегда развивается непонимание качественное.

4. Все задачи содержатся в этом отрицательном выражении. Вследствие их отрицательности мы не можем вывести из них правил, но должны исходить из некоего положительного оборота речи, при этом всегда учитывая это отрицательное.

5. Следует, кроме того, различать положительное и активное непонимание. Последнее представляет собой вложение, которое является, однако, следствием собственной предвзятости и не несет в себе никаких определенных последствий до тех пор, пока не достигнет максимума, будучи основано на совершенно ложных предпосылках.

Непонимание²¹ есть следствие либо поспешности, либо предвзятости. Первое — частность. Второе является ошибкой, причина которой глубже. Она состоит в одностороннем предпочтении того, что вписывается в определенный круг идей, и отвержении того, что лежит за его пределами. Так толкуют о том и о сем, чего у автора нет.

18. Искусство может развивать свои правила только из некоей положительной формулы, а она есть «историческое и интуитивное»²² (пророческое) объективное и субъективное воссоздание данной речи».

1. *Воссоздать объективно исторически* – значит понять, как ведет себя речь внутри языкового целого и знание, заключенное в речи как созданию языка. *Объективно интуитивное*

тивно – значит предвидеть, как сама речь становится исходным пунктом для развития языка. Без учета того и другого нельзя избежать ни качественного, ни количественного непонимания.

2. *Воссоздать субъективно исторически* – значит познать, каким образом речь дана как душевное состояние, *субъективно интуитивно* – значит предвидеть, как мысли, заключенные в ней, действуют в говорящем и воздействуют на него в дальнейшем. Без учета того и другого непонимание неизбежно.

3. Задачу можно сформулировать и так: «понимать речь сначала наравне с автором, а потом и превзойти его». Поскольку у нас нет непосредственного знания о том, что у него происходит в душе, нам нужно стремиться осознать многое из того, что он не осознавал сам, исключая те случаи, когда он, рефлексировав, становится своим собственным читателем. С объективной стороны он и здесь не обладает никакими иными данными, чем мы.

4. Задача, сформулированная таким образом, бесконечна, ибо то, что мы хотим увидеть в моменте речи, является некоей бесконечностью в прошедшем и будущем. Вследствие этого и данное искусство, как и любое другое, способно вызвать вдохновение. Насколько текст не вдохновляет, настолько он лишен значительности. – А в какой мере и с какой стороны лучше подходить к тексту, следует решать на практике, и вопрос этот относится в лучшем случае к специальной, но никак не к общей герменевтике.

19. Перед тем как прибегнуть к искусству, нужно объективно и субъективно уподобиться автору.

1. С объективной стороны, изучив современный автору язык, что еще определеннее, нежели уподобление себя первым читателям, которые сначала сами должны были уподо-

биться ему. С субъективной стороны, — изучив его внутреннюю и внешнюю жизнь.

2. Но совершенства и в том, и в другом можно достичь только путем истолкования. Ибо, только изучая произведения автора, можно ознакомиться с его словарем, характером и обстоятельствами его жизни.

20. Словарь автора и историческая эпоха образуют целое, внутри которого отдельные произведения понимаются как части, а целое, в свою очередь, из частей.

1. Совершенное знание всегда движется по этому мнимому кругу, в котором всякая часть может быть понята только из всеобщего, частью которого она является и наоборот. И любое знание является знанием научным только, если оно устроено так.

2. Сказанное подразумевает уподобление автору, и из этого следует, во-первых, что мы тем лучше подготовлены к истолкованию; чем совершеннее его усвоили, и, во-вторых, что никакой толкуемый предмет нельзя понять разом, но каждое прочтение, обогащая имеющееся предзнание, подводит нас к лучшему пониманию. Только в незначительном мы удовлетворяемся тем, что поняли сразу.

21. Если знание определенного словаря добывается лишь в процессе самого истолкования с помощью лексики и разрозненных наблюдений, то самостоятельным истолкование стать не может.

1. Только непосредственное заимствование из действительной жизни языка предоставляет источник для знания словаря относительно независимый от истолкования. В случае с греческим и латинским языком мы обладаем таковым в недостаточной степени. Потому-то первые работы по лексике дошли до нас от тех, кто с этой целью переработал всю

литературу. Однако именно поэтому они нуждаются в постоянном исправлении посредством самого истолкования, и всякое художественное истолкование, в свою очередь, должно способствовать этому.

2. Под определенным словарем я разумею диалект, период и языковую область особого рода, ее же – исходя из различия между поэзией и прозой.

3. Новичок должен делать первые шаги, имея под рукой эти подсобные средства, но самобытное толкование может опираться только на относительно самостоятельное приобретение таких предварительных сведений. Ибо все определения языка, данные в словарях и обзорных пособиях, отталкиваются все же от особенного и зачастую ненадежного истолкования.

4. Особенно в отношении Нового Завета можно утверждать, что причина ненадежности и произвольности его истолкования кроется по большей части в этом недостатке. Ибо отдельные наблюдения всегда приводят к противоположным аналогиям. – Путь к новозаветному языку начинается с классической древности, ведет через греко-македонскую культуру, еврейских профанных писателей Иосифа и Филона, новоканонические книги и Септуагинту, как точнейшее приближение к еврейскому языку.

(...)

22. Если необходимые исторические знания черпаются только из пролегомен, самостоятельным толкование стать не может.

1. Составление пролегомен наряду с критическим аппаратом входит в обязанности всякого издателя, претендующего на роль посредника. Они, в свою очередь, основаны только на знании всего относящегося к тексту круга литературы и того, что появилось об авторе текста впоследствии.

Значит, они сами зависят от истолкования. Кроме того, они рассчитаны на того, в чьи планы работа с первоисточником совсем не входит. Добросовестный толкователь должен мало-помалу черпать все из самих источников, и потому его работа, с этой точки зрения, продвигается от более легкого к более трудному. Но наиболее вредна такая зависимость, когда в пролегомены вносятся пометы, которые можно почерпнуть только из самого толкуемого произведения.

2. По отношению к Н.З. из этих предзнаний сделали особую дисциплину, – введение. Оно в действительности не является органическим элементом богословской науки, но на практике целесообразно, как для новичка, так и для учителя, ибо с его помощью легче свести *воедино* все относящиеся сюда исследования. Но и толкователь должен постоянно способствовать тому, чтобы результаты множились и уточнялись.

Добавление. В зависимости от способов фрагментарно собирать и использовать эти предзнания, возникают различные, но при этом односторонние школы толкования, которые за их манерность достойны порицания.

23. Также и внутри отдельного текста единичное понимается только, исходя из целого, и поэтому более скрупулезному толкованию должно предшествовать обзорное чтение для того, чтобы получить общее представление о целом.

1. Это напоминает круг, однако для предварительного понимания достаточно такого знания о единичном, какое берется из общего знания языка.

2. Оглавления, которые составляются самим автором, слишком сухи для того, чтобы достигнуть цели и со стороны технического толкования, а воспользовавшись обзорами, которые обычно прилагаются издателями также и к пролегоменам, попадаешь во власть их собственного толкования.

3. Найти ведущие идеи, которые выступали бы мериллом для остальных, а с технической стороны отыскать основной путь, который привел бы к обнаружению единичного. Это неизбежно как с технической, так и с грамматической стороны, что легко подтверждается разнообразием непониманий.

4. В незначительных случаях от этого легче отказаться, а в трудных случаях от этого, кажется, мало толку, но тем неизбежней. Этот малый толк от общих обзоров является даже характерным признаком трудных писателей.

Добавление. Общие методологические правила: а) Начинать с общего обзора; б) Сочетать одновременно оба направления, грамматическое и психологическое; в) Только тогда, когда они сойдутся, можно двигаться дальше; г) Если они не согласуются, необходимо вернуться, пока не обнаружится ошибка в расчете.

Когда же мы приступим к истолкованию частного, то хотя на практике обе стороны толкования всегда связаны, но в теории их следует разделять и вести речь о каждой в отдельности, стремясь продвинуться так, чтобы вторая сторона не потребовалась, или же, напротив того, чтобы результат ее проявлялся в первой. Грамматическое толкование предшествует.

[Доклад 1832 года о пп.14–23 сам Шлейермахер резюмирует следующим образом:]

Перед началом герменевтического анализа необходимо знать, в каком соотношении следует применять обе стороны (см. п.12). Затем нужно установить точно такие отношения между собой и автором, какие существовали между ним и его первоначальным адресатом. Т.е. знать все обстоятельства его жизни, и отношение к ним обеих частей. Если полного знания нет, то возникают трудности, которых мы стремимся избежать. Комментарии предупреждают об этом заранее и стремятся их разрешить. Кто ими пользуется, тот подчиняется их авторитету, и стяжает собствен-

ное понимание лишь тогда, когда сможет подчинить данный авторитет собственному суждению. – Если речь обращена непосредственно ко мне, предполагается, что говорящий мыслит меня таким, каким я сам осознаю себя в жизни. Но поскольку уже заурядный разговор зачастую показывает, что дело обстоит не так, нам следует действовать скептически. Канон гласит: Первоначальное понимание должно быть подтверждено в дальнейшем. Из этого вытекает, что начало мы поймем не ранее как в конце, и что начало нам в конце еще понадобится, а по отношению к каждому комплексу, превосходящему обычные пределы памяти, это означает, что речь должна стать текстом²³.

Тогда канон приобретет такой вид: Для того, чтобы точно понять первое, нужно уже воспринять целое. Разумеется, не потому, что оно тождественно совокупности отдельных частей, но как скелет, чертеж, каким его возможно постичь, не останавливаясь на единичном. Мы обретаем этот настоящий канон, исходя из посылки, воссоздавать авторский процесс. Ибо, имея дело с относительно большим комплексом, автор прежде видит все целое, а потом уже приступает к частям²⁴.

И дабы нам теперь двигаться по возможности не останавливаясь, мы должны пристальнее рассмотреть то, чего следует избегать, а именно – непонимание. Предложение не понимается количественно, если мы неправильно восприняли целое, например, если за основную мысль я принимаю второстепенную, – качественно, если, к примеру, ирония принимается всерьез и наоборот. Предложение как единство является минимальной единицей для понимания и непонимания. Непонимание есть замена одного места в языковой значимости какого-нибудь слова или формы другим. Противоположность между качественным и количественным пронизывает, строго говоря, в языке все и вся, также и понятие Бог ему подчиняется (достаточно сравнить политеистическое и христианское), формальные и материальные языковые элементы.

Генезис непонимания — двойной, вследствие (осознанного) *недоразумения* или непосредственно. В первом случае, винить, по-видимому, следует автора (Отступление от обычного слово-

употребления или употребление без аналогии), во втором — скорей всего собственная вина толкователя. (п.17).

Всю задачу мы можем сформулировать и отрицательным образом: — избегать непонимания в каждом пункте. Ибо на простом непонимании никто не захочет остановиться, следовательно, все должно завершиться полным пониманием, если та задача решена правильно.

Если теперь, усвоив задачу и выполнив предварительные условия, перейти к делу, то между обеими сторонами толкования следует определить приоритет. Им пользуется грамматическая сторона, отчасти, потому, что она в большей степени разработана, отчасти потому, что в ней легче опереться на имеющиеся навыки.

Примечания*

1. Примеч. Издателя (Люке): Против господствующего определения, идущего от Ernesti Instit. interpret. N.T. ed. Ammon p.7 et 8 Est autem interpretatio facultas *docendi*, cujusque orationi sententia subjecta sit, seu efficiendi, ut alter cogitet eadem cum scriptore quoque. — Interpretatio igitur omnis duabus rebus continetur, sententiarum (idearum) verbis subjectarum intellectu, earumque idonea *explicatione*. Unde in bono interprete esse debet, subtilitas intelligendi et subtilitas explicandi. Толкование — это обучение тому, какая мысль содержится в речи каждого или же это возможность сделать так, чтобы другой мыслил то же, что и писатель. Следовательно, всякое толкование заключается в двух вещах: в понимании тех *сентенций* (идей), которые лежат в основе слов и подходящем их объяснении. Следовательно, в хорошем толкователе должна быть и тонкость понимания, и тонкость объяснения. Ранее Ж.Жак Рамбах присоединил *Institutiones hermen. sacrae*. p.2 еще и третье *sapienter applicare*, что, к сожалению, вновь выделяется новыми исследователями.

* Примечания составлены М.Франком для немецкого текста. М.Франк использовал комментарии прежних издателей — Фр.Люке и Х.Киммерле.

2. Из лекции 1826 г. В отличие от рукописного наследия Шлейермахера дополнения и пояснения из лекционных тетрадей в настоящем издании даны петитом. (М.Фр.)

3. Примеч. издателя (Люке): В последних лекциях по герменевтике, прочитанных зимой 1832—1833 гг., Шлейермахер пытался вывести понятие и необходимость *общей герменевтики* диалектически путем критики сугубо классических, отчасти противостоящих друг другу, воззрений Ф.А.Вольфа в изложении науки о древности в археологическом музее. Т.1 с.1—145 и Фр.Аста в очерке филологии, Ландсхут 1808. 8.

Но т.к. все, что он говорит здесь об этом, в более подробном изложении можно прочесть в обеих Академических работах О *понятии герменевтики со ссылкой на указания Фр.А.Вольфа и учебник Аста* (в речах и трудах Королевской Академии Наук, собр.соч., третий отдел. К философии. Третий том. С.344—380, см ниже ...), то мы, не считая некоторых немногочисленных исключений, решили воздержаться от включения сюда неполного устного, составленного по конспектам доклада.

4. Пометка на полях 1828 г.

5. Пометка на полях 1828 г.

6. Примеч. издателя (Люке): Разъяснив этот предмет в особом отношении к работе Вольфа, Шлейермахер вместо риторики стал пользоваться словом грамматика. Это объясняется тем, что он трактовал грамматику в высшем смысле как художественное обращение с языком, имея в виду и риторическую композицию. См. работу о Понятии герменевтики. С.357 и след.[здесь неверное понимание Люке: В действительности Шлейермахер различает риторику и грамматику строго функционально как дисциплины произнесенного слова и языка как системы (М.Фр.).]

7. Примеч. издателя (Люке): Из лекции 1832г. В дальнейшем мы будем напоминать о дате только в том случае, если она меняется.

8. Т.е. как дело деяния. Иногда слово *Tatsache* сохраняет в тексте Шлейермахера этот активный смысл. (М.Фр.)
9. Киммерле расшифровывает «в» ГК81) (М.Фр.)
10. Добавления «грамматика» и «грамматическое» идут от Люке, который делает ошибочную конъектуру. Ср. ГК 82 (М.Фр.)
11. Пометка на полях 1828 г.
12. Добавление Люке (М.Фр.)
13. Пометка на полях 1828 г.
14. Все без исключения добавления в круглых скобках идут от Люке. В дальнейшем они специально не помечаются.
15. Пометка на полях 1832 г.
16. Пометка на полях 1828 г.
17. Сообщено в отрывке.
18. Как мне кажется, этот термин идет от Шлейермахера (М.Фр.)
19. Из пометки на полях и лекции 1828 г.
20. Более ясное выражение мысли здесь почерпнуто из лекции.
21. Из лекции 1826 г.
22. «интуитивная» в качестве корректуры стоит над «пророческая» (ср. ГК 87) [М.Фр.]
23. В лекции это становится более ясным потому, что видно, как герменевтическая задача от устной речи, разговора, — как изначального места понимания — восходит к пониманию текста.
24. В лекции более точное определение этого канона в его применении состоит в том, что предшествующее понимание целого тем необходимей, чем больше данный мыслительный комплекс обладает самостоятельной взаимосвязью. Канон совершенного понимания получает такую форму: Совершенное понимание дается только посредством целого, само же целое опосредовано совершенным пониманием единичного.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ

1. Первый канон: Все, что в данной речи еще требует уточнения, уточняется только из языковой области, общей автору и первым читателям.

1. Все нуждается в уточнении и уточняется только в контексте. Всякий фрагмент речи, как материальный, так и формальный, сам по себе является неопределенным. Ко всякому изолированному слову мы продумываем определенный набор способов его употребления. То же самое и ко всякой языковой форме.

2. Одни называют то, что мыслится в самом по себе слове, *значением*, а то, что мыслится в данном контексте — *смыслом*. Другие говорят, что у слова есть только значение, но нет смысла, отдельно взятое предложение обладает смыслом, но не обязательно понятностью, каковая свойственна только полностью завершенной речи. На это, пожалуй, можно возразить, что и речь можно понять полнее в связи с миром, который она отображает; однако это выходит за пределы области толкования. — Вышеозначенная терминология предпочтительнее уже потому, что предложение есть некое нерасторжимое единство, таким же нерасторжимым единством является и смысл, взаимоопределенность субъекта и предиката посредством друг друга. Но и оно не в полной мере соответствует языку, ведь смысл в сравнении с понятностью есть абсолютно то же самое, что и значение. Истина состоит в том, что переход от менее определенного к более определенному в любом деле, связанном с истолкованием,

является бесконечной задачей. – Там, где отдельное предложение составляет завершённое целое только для себя самого, различие между *смыслом* и *понятностью*, казалось бы, исчезает как, например, в случае эпиграммы и гномы. Но последнюю сначала должна определить читательская ассоциация, и каждый проявляет здесь меру своих способностей. Первая определяется только отношением к единичной вещи.

Если речь разложить на отдельные части, то каждая из них будет чем-то неопределённым. Всякое предложение, полностью вырванное из контекста, будет чем-то неопределённым.

– Но бывают случаи, когда даны лишь единичные предложения без контекста, например, сущность пословицы (гномы) состоит как раз в том, что она представляет собой единичное предложение. Такой же законченной является и эпиграмма. По этому канону она – непонятный, плохой жанр. Эпиграмма, употребляясь как надпись есть нечто совершенно единичное; гнома же – нечто всеобщее, хотя зачастую и высказана в форме примера. Эпиграмме требуется история, в контексте которой она возникла и в связи с которой ее только и можно понять. Если знания о событиях и людях, которые дали ей жизнь, утеряны, то эпиграмма превращается в загадку, т.е. ее нельзя разгадать, исходя из контекста. Гномы суть изречения, которые употребляются часто и разнообразно. Круг их применения и влияния не определен. Только при употреблении в каком-то определенном случае изречение определяется как гнома. Оно возникает в определенном контексте, но, соотносясь с широким кругом своего применения, становится неопределённым. Таким образом, ни гномы, ни эпиграммы не опровергают нашего всеобщего канона.

3. Область самого автора составляют его время, образование, род занятий, а также его диалект [43], в тех случаях и поскольку эта дифференция проявляется в литературной

речи. Вся область присутствует, однако, не в каждой речи, но мера ее присутствия определяется читателем. А как же мы узнаем, какого читателя имел в виду автор? Только с помощью всеобщего обзора целого текста. Но подобное определение общей области есть лишь начало, его следует продолжать по ходу истолкования, и завершить лишь вместе с ним.

4. Данный канон имеет несколько мнимых исключений; а) *Архаизмы* лежат вне непосредственной языковой области как автора, так и его читателей. Они появляются, чтобы оживить прошлое, в письменной речи чаще, нежели в устной, в поэзии чаще, нежели в прозе. б) *Технические выражения* даже в популярнейших жанрах, как, например, в судебных и наставительных речах, даже в случае, если не все слушатели их понимают. В связи с этим следует заметить, что автор не всегда представляет себе всю свою публику, но и она изменчива. Отсюда следует, что как раз это правило является художественным, удачное применение которого зиждется на истинном чувстве.

Фраза – нет правил без исключений, нам не по нраву, ибо в этом случае правило сформулировано либо слишком узко, либо слишком широко, либо слишком неопределенно. Но все же мы видим, что писатели часто используют выражения, которые не принадлежат языковой области их читателей. Это происходит оттого, что эту общность нельзя заключить в широкие или узкие границы. Например, архаизмы. Если у автора есть определенное основание для их употребления, и устаревший речевой оборот в итоге разъясняется контекстом, то автор избежит ошибки. Или, например, технические выражения. В специальной области без них не обойтись; и читателю придется их усвоить. Но если технические выражения без всякого на то основания, употребляются в другой области, то писателя поймут не полностью. Поэтому Фр.Рихтер, вследствие частого употребления специальных выражений, не может претендовать на классич-

ность. К изменчивости языка во времени относится и восприятие новых речевых оборотов. Они возникают вследствие совместного развития мышления и высказывания. Покуда жив язык, создаются и новые речевые обороты. Но и это имеет свои пределы. Нельзя образовать новые корневые слова; новые слова возможны только как производные и сложные. Потребность в них возникает, как только завоевывается новая область мысли. Не хочется заниматься новообразованиями на родном языке, придется изъясняться на иностранном, в котором эта область уже исследована. Упустив из виду, что автор создал нечто новое в языковой области, мы неполно поймем его в отношении языка; за пределами нашего сознания останется нечто, что было в сознании автора. То же самое касается и целых фраз. И, вероятно, это следует учитывать во всех произведениях, которые были первыми в своем жанре. Всякий текст, стоящий у истоков новой области мысли, обязательно содержит неологизмы. Нельзя требовать, чтобы новаторство писателя равномерно распределялось по всему произведению; могло быть утрачено именно то, в чем новизна проявлялась изначально. Так у Платона, о котором известно, что он создавал новые выражения для передачи новых философских идей. Значительная часть его языковой продукции стала достоянием всех школ. Поэтому нам кажется известным то, что, возможно, он первым ввел в языковой оборот. У Платона письменный язык основан на устной беседе, в которой литературные выражения, возможно, появились сначала, и от нас ускользает то, что Платон в своих произведениях мог предполагать, что употребляемые им новые выражения, уже известны читателям из его устных бесед. Поэтому-то новое вызывает трудности и неуверенность при истолковании. — Часто в непонимании виноваты уже устоявшиеся выражения, в которое вкладывается особое значение. Тут виноват обычно автор, которого мы называем темным, если он придает расхожим речевым оборотам самобытную значимость, не выводимую из контекста¹.

— Неологизмы в столь же малой степени, как и технические выражения, представляют собой исключения, т.к. их следует

брать и понимать из общей языковой области. Но в отношении архаизмов и неологизмов в языке признано, что их надлежит рассматривать, ознакомившись с историей языка в различные периоды. В случае Гомера и трагиков, например, задают вопрос, обусловлено ли различие их языка жанром, самим языком или же тем и другим. Язык Гомера вновь проявился у александрийцев. Спрашивается, пребывал ли эпос так долго в забвении, а потом возродился, или же произведения александрийских поэтов всего лишь подражания Гомеру? В зависимости от того, какой ответ мы дадим на этот вопрос, герменевтический анализ будет различным. – В основе всегда должен лежать верный взгляд на целое, если мы хотим правильно понять частное.

5. Когда мы говорим, что должны осознать языковую область в противоположность к остальным органическим элементам речи, то имеем ввиду, что понимаем автора лучше, чем он сам понимает себя, ибо он не осознает многого из того, что осознается нами, отчасти уже в общем при первичном обзоре, отчасти в единичном, как только возникнут трудности.

6. Бывает так, что истолкование после общего обзора продвигается гладко, не теряя своей художественности, ибо ведь все соотносится с целостным образом. Но как только возникает частная трудность, возникает и вопрос, кто виноват – автор или мы. Первое можно предположить только в той мере, в какой тот уже в результате обзора показал себя беспечным, неточным, или же бесталанным и сумбурным. Наша собственная вина может иметь две причины, либо непонимание, оставшееся незамеченным ранее, либо недостаточная искушенность в языке, вследствие которой правильное словоупотребление не приходит нам в голову. О первом случае речь пойдет позже в связи с учением о параллельных местах. Сначала о втором.

7. Словари, которые являются естественными дополнительными пособиями, в различных способах употребления

видят простой набор чего-то разрозненного, вольно связанного. Не осуществлено в них и стремление, свести значение к первоначальному единству, ибо в противном случае словарь следовало бы организовать в соответствие с системой понятий, что невозможно.

Многообразие значений следует тогда представить в дробном ряду противоречий. Первое из них – противоречие между *собственным* и *несобственным* значением. Но если присмотреться, то сие противоречие исчезает. В притчах имеется два параллельных мыслительных ряда. Слово стоит в своем ряду, и следует принимать во внимание только его. Так оно сохраняет свое значение. В метафорах на это значение лишь намекается, зачастую выделен только Один признак предмета, например, сома arborum, листва, но сома продолжает значить волосы. Царь зверей = лев. Лев не царствует, но и царем не называют того, кто по праву сильнейшего разрывает на части. Подобное единичное употребление не выявляет значения, и характерной может стать только вся фраза. Это противоречие, в конечном счете, сводят к тому, что все духовные значения были не изначальны, т.е. были образным употреблением чувственных слов. Исследование этого вопроса, однако, лежит за пределами герменевтики. Ибо если teos образовано от teo (Платон Кратил 397.) или teis (Геродот, 2, 52), то это относится к древнейшей истории языка, с которой истолкование не имеет дела. Вопрос в том, не относятся ли духовные представления вообще ко второму этапу развития, который состоялся лишь после того, как завершилось становление языка, но этого, очевидно, так никто и не докажет. Нельзя отрицать, что есть духовные слова, которые одновременно указывают на нечто телесное, но и здесь господствует параллелизм, т.к. обе эти сферы, в том виде, в каком они существуют для нас, в идее жизни суть Одно. Именно поэтому одни и те же слова мож-

но употребить как по отношению к пространству, так и ко времени. Обе сферы составляют в сущности своей единство, поскольку пространство мы можем определить лишь посредством времени и наоборот. Форма и движение сводимы друг к другу, и вьющееся растение потому не является образным выражением. Не лучше обстоит дело с противоположностью между изначальным и производным значением. Hostis – сначала чужой, затем – враг. Вначале все чужаки были врагами. Потом поняли, что с чужеземцами можно дружить, а инстинкт рассудил, что само это слово скорее вызывало мысль о разнице в мировоззрении, нежели о разделении территориальном, так что, в конце концов, и местные враги могли именоваться hostes, хотя, возможно, только потому, что их при этом отправляли в изгнание.

Противоречие между *общим* значением и *особенным*, первое – в смешанном общении, второе – в определенной области. Иногда они по своей сути совпадают, иногда эллиптически, как, например, стопа для обозначения ноги и стопа в метрике для обозначения шага или краты. Иногда из-за непонимания невежественной толпы – искусство десть область низменная. Иногда – это исковерканные и переименованные иноязычные слова, которые кажутся родными. Так же дело обстоит и с остальными противоположностями.

8. Изначальная задача и для словарей, которые предназначены исключительно для толкователя, состоит в том, чтобы *найти истинное, совершенное единство слова*. Единичное появление слова в определенном месте сопряжено, правда, с бесконечно неопределенным многообразием, к нему же со стороны искомого единства нет никакого иного перехода, кроме как через определенную множественность, внутри которой оно содержится, и каковая непременно образует противоположности. Однако и появляясь однократно, слово не изолировано; своей определенностью оно обязано не себе,

а своему окружению, и стоит нам только сопоставить изначальное единство слова с этим окружением, как мы тут же установим истину. Полное единство слова было бы его объяснением, но его нет в наличии, как нет полного объяснения предметов. Его нет в мертвых языках, ибо мы полностью не познали их развития, его нет и в живых, ибо оно действительно еще продолжается.

9. Если в наличном единстве возможно многообразие способов употребления, то многообразие должно быть уже в самом единстве, множество центров, гибко связанных друг с другом в определенных границах. Их должно отыскать языковое чутье; там же, где возникает неуверенность, мы пользуемся словарем как подспорьем, чтобы опираться на фундамент общего знания языка. Различные приводимые там случаи должны служить лишь разумной выборкой, и необходимо связать отдельные точки с помощью переходов, чтобы представлять себе и всю кривую, и найти искомое место.

Если понимание предложения из контекста затруднено, то мы должны прибегнуть к помощи общих и особенных вспомогательных средств.

Первые – это лексиконы, дополняемые синтаксисом, вторые – комментарии к данному тексту или даже целый набор таких. Словарем мы пользуемся тогда, когда для правильного понимания нам не хватает знания всего объема языковой значимости². При правильном его использовании важно, чтобы рассмотрение языковых элементов было правильным и совпадало с моим собственным. Если оно с моим собственным не совпадает, стоит внимательнее вдуматься в указанное в лексиконе, ибо иначе мне трудно оценить его мнения в каждом отдельном случае. Это приводит к теории словарей. Словарь должен отображать весь словарный запас, его отдельные элементы и их значимость. Существует два различных способа составления словарей – алфавитный и этимологический. В основе этимоло-

гического способа лежит идея, собрать отдельные элементы не в их единичности, а по группам согласно языковым законам словопроизводства. В противном случае их можно было бы организовать по понятиям, как предлагал Поллюкс. Этимологический способ предоставляет более ясную языковую картину, ибо сводит выражения к общему центру. Алфавитный имеет совершенно поверхностное основание для классификации – удобство пользователей. Научное использование обоих способов заключается в том, что в алфавитном лексиконе ищут слово и указание на его основу, находя ее затем в этимологическом, в котором приводится вся языковая семья. – Задача лексикографа состоит в обнаружении единства значений одного слова среди разнообразных вариантов его употребления и в распределении по группам подобного и неподобного. Группируя таким образом, необходимо совмещать метод *противопоставления* с методом *перехода друг в друга*, как при всяком правильном созерцании природных явлений. *Противопоставление* значений относится в большей степени к языковой задаче, а *выявление переходов* – к герменевтической. Самым обычным является противопоставление прямого и переносного значений. Стремясь обнаружить единство, следует по отношению к этому противоречию остановиться на прямом значении. Ведь переносное значение возникает вне круга элементов слова. Но что побуждает нас употреблять слово вне его круга? Кажется, что противоречие не обладает реальностью и не отменяет единства слова. Следует рассматривать единство не как нечто абсолютное, но как соединение различных элементов, и употребление сообразуется всякий раз с выдвиганием одного из них. Все соотношение прямых и переносных значений зиждется на аналогии и параллельности вещей. Стоит при толковании пренебречь образным, эмфатическим в том или ином обозначении, как возникает количественное непонимание. В лексическом сопоставлении различных способов словоупотребления, очевидно, есть свое удобство.

Но, не достигнув единства, понимания текста не достичь, ибо писатель, даже не отдавая себе в этом отчета, всегда находится

в его власти. Но если единство является составным, то его можно обнаружить, лишь собрав все способы употребления воедино. Метод противопоставления для герменевтики есть лишь средство достижения промежуточного понимания, но в качестве такового он призван выявить изначальную комбинацию, к которой прочие способы употребления относятся как ее модификации. – В противопоставлении изначального и производного в значениях может заключаться и истинное и ложное. Строго говоря, изначальным в языке является простой корень, а склонения – производны. Но и то и другое скрыто в языковых элементах. В значениях одного и того же слова единство следует искать в изначальном, а производные суть плоды позднейшего словоупотребления. Это истинно, но это не есть противоположность. Неистинен такой метод противопоставления, когда изначальными объявляются все первые попавшиеся нам на глаза значения, но ведут вглубь веков, тем самым наделяя слово историей. А правильным он будет только тогда, когда мы при любом словоупотреблении будем отличать изначальные, древнейшие слова от производных, возникших позднее. Теперь установлен важный для герменевтики канон, согласно которому противопоставляются чувственные и духовные значения, и первые именуется изначальными, а вторые – производными. Однако этот канон, будучи сформулирован в таком виде, неправилен и привел бы к полному непониманию, поскольку речь является продуктом человеческой способности к мышлению. См. выше с.47. Ни одно выросшее в языке слово не содержит подобных противопоставлений, но каждое есть в то же время комбинация многообразных отношений и переходов. Ни об одном слове в живой речи или в тексте нельзя утверждать, что оно представимо как чистое единство. Только произвольные выражения, не выросшие в языке, лишены разнообразия в способах употребления. Например, технические. Живой, естественно растущий язык исходит из восприятий и фиксирует их. В них содержится материал для разнообразного словоупотребления, ибо в восприятии всегда заключено множество отношений. Если станут утверждать, что для духовного нет изначального обозна-

чения, и оно всегда производно, то это – материалистическое воззрение на язык. Если под чувственным разумеют то, что возникает вследствие внешнего восприятия, а под духовным – вследствие внутреннего, то такой взгляд будет односторонним, ибо всякое изначальное восприятие является внутренним. Хотя, пожалуй, изначально в языке не *абстрактное*, а *конкретное*.

Если отдельное выражение во фразе не разъясняется непосредственными связями, которые оно образует, то это обусловлено тем, что оно неизвестно слушателю или читателю в тотальности своей языковой значимости.

Тогда в качестве дополнения используются вспомогательные средства, предлагаемые лексиконом. Нужно овладеть единством языковой значимости, чтобы получить многообразие способов употребления. Достигнуть этого невозможно, если фиксировать употребление путем противоположностей. Поэтому указанные в лексиконе противоположности, необходимо снять, и рассматривать слово в его единстве как способное многообразно меняться.

Возникает вопрос, насколько история языка существенна для герменевтики?

Предположим, что перед нами обширные временные пространства, в которые жил некий язык, и из каждой его точки мы можем двигаться вспять, но только не к началам, – ибо они никогда не даны нам во времени, – и если мы сравним древнейшие и новейшие способы употребления одного слова, – то спросим, учитывались ли живым человеческим сознанием все те значения, которые оно приобрело впоследствии? Никто не рискнет ни утверждать, ни доказывать это. Но в языке, который преобладал на протяжении многих поколений, должны были вырасти знания, которые древним не могли даже в голову прийти. А знания эти неизбежно оказывают влияние на язык. Но поскольку в уже сформировавшемся языке не могут возникнуть совершенно новые элементы, то возникают новые способы употребления, которых не было в сознании древних. Так, например, слово *basileus* у греков. – Если мы стремимся к точному пониманию, то должны знать, насколько живо говорящий создавал

языковые выражения и что они, будучи созерцаемы в своей внутренней сущности, действительно значили для него. Ибо только таким способом мы раскроем процесс его мышления. Хотя, по-видимому, этот вопрос относится к психологической стороне, поставить его следует здесь, ибо важно знать, какое языковое содержание было современным для того, кто употреблял слово, старое или новое. Между ними большая разница. Ибо у выражения, которое я воспринимаю как новое, совсем иные акцент, эмфаза, колорит, чем те, которыми я довольствуюсь у стершегося знака. Сюда же относится полное знание языка и его истории, а также отношение писателя к оной. Но кому под силу полное решение этой задачи! Однако в некий данный момент никогда не нужно желать полного решения задачи, а в большинстве случаев только частичного. В то же время, если мы не стремимся к полной основательности, то легко упускаем, чего упустить нельзя. Там, где не прилагается максимум усилий, меньше уверенности и больше трудностей. Вместе с тем бывают случаи, когда все для нас сводится к единичному, и мы, сосредотачиваясь на частностях, как бы отказываемся от жизни сознания в ее полноте..

При таком самоограничении необходима осторожность, дабы не упустить из виду то, что является важным, потому как в противном случае мы окажемся в затруднении. Но если мы ищем полного понимания, то должны удерживать в сознании весь словарный запас. В эту полноту понимания включается и предварительный обзор целого. Однако этот предварительный герменевтический процесс возможен и необходим не во всех случаях. Чем более мы, например, читая газету, следим не за способом повествования, а за самим сообщаемым фактом, т.е. за тем, что, собственно говоря, лежит за пределами герменевтики, тем менее нуждаемся мы в предварительном процессе.

10. Точно так же обстоит дело и с формальным элементом; равно как и значения, правила грамматики содержатся в словаре. Отсюда и грамматика по отношению к частицам выступает в качестве словаря. Формальный элемент еще сложнее.

11. Употребление обоих вспомогательных средств (лексикона и грамматики) является опять-таки авторским, а потому подспудно здесь действуют и все те же правила. Они охватывают языковые сведения, затрагивающие только один временной промежуток, и связаны обычно с определенной точкой зрения. Полное использование их каким-нибудь ученым должно опять-таки служить их уточнению, обогащению путем лучшего понимания; так каждый (особенный герменевтический) случай вносит сюда свою лепту.

Все языковые элементы способствуют полному пониманию в одинаковой степени, как формальные, так и материальные. Первые выражают связи. Если материальные элементы заучивают по лексикону, то формальные – по грамматике, а именно по синтаксису. Но для формальных элементов (частиц) значимо то же самое, что и для материальных, а именно то, что каждый из них представляет собой единство, но и оно познается не посредством противопоставления, а в форме постепенного перехода. Только в грамматике мы в большей степени вынуждены прибегать к этимологической процедуре, т.к. здесь имеются формы, находящиеся друг с другом в определенном родстве.

2. Применение первого канона к Новому Завету.

1. Если специальную герменевтику Н.З. строить на научных принципах, то по каждому пункту (всеобщей герменевтики) следует выяснить, что по отношению к тому или иному предмету полагается ею само собой, а что исключается³. –

2. Новозаветный язык надлежит сопоставить с греческим языком в целом. Сами книги не являются переводами, даже Матфей и Послание к евреям. Но и сами авторы не обязательно мыслили по-еврейски, а по-гречески лишь писали или диктовали. Ибо среди своих читателей они могли предполагать лучших переводчиков. Но они, как всякий приобщенный к знанию, (по крайней мере, в единичном, ибо о

первой, никогда не осуществленной концепции здесь речи нет) также мыслили на том языке, на котором писали.

3. Но новозаветный язык относится к периоду упадка. Его отсчет можно вести уже с эпохи Александра. Некоторые писатели этого периода приближаются к золотому веку или пытаются его восстановить. Но наши новозаветные авторы скорее черпают свой язык из простонародья, и той тенденции у них нет. Однако и тех следует привлечь там, где они вписываются в образ своего времени. Поэтому правомерны аналогии из Полибия и Иосифа. Отмеченные аналогии с аттическими писателями, такими как Фукидид, Ксенофон, обладают отрицательной ценностью, и полезно упражняться, сравнивая тех и других. Дело в том, что различные области порой считают слишком закрытыми и полагают при этом, что то или иное в классическом языке не встречается, а только в эллинистическом или македонском, и сообразно с этим производится правка.

4. Влияние арамейского определяется только из общего взгляда на способ овладения иностранным языком. Народность и склонность к общению повсюду, также и в области языка соседствуют друг с другом. Часто вторая как минимальная исчезает. Там, где ее слишком много, в упадке народность. Но умение искусно усваивать многие языки, соотнося родной и иностранный с образом языка вообще, — есть талант.

Талант этот у евреев никогда развит не был. Но та легкость, которая теперь выросла настолько, что вытолкнула родной язык, имелась у них уже тогда. Однако в ходе одного только общения, без знания грамматики и литературы при усвоении не избежать ошибок, которых не бывает у научно образованных людей, и этим Н.З. отличается от Филона и Иосифа. Эти ошибки в нашем случае двойного рода. *С одной стороны*, контраст богатства и бедности формальными

элементами приводит к тому, что новозаветные писатели не умеют использовать все богатства греческого языка. *С другой*, если при овладении иностранными словами, сводить их к словам родного языка, то легко возникает обманчивое впечатление, что слова, которые соответствовали друг другу в большинстве случаев, будут соответствовать везде, а из-за этой предпосылки происходит ложное употребление их и на письме. В обоих случаях Септуагинта весьма совпадает с Новым Заветом и является, таким образом, одним из наиболее полных средств объяснения. Но считать ее источником новозаветного языка, из которого тот возник, было бы преувеличением. *Во-первых*, помимо различий новозаветных писателей в уровне владения греческим языком и степени указанных недостатков, связь их с Септуагинтой была также различна. *Во-вторых*, для всех можно установить и иной источник, а именно, язык повседневного общения.

5. Другой проблемой является исследование, насколько сильна зависимость Н.З. от Септуагинты еще и в религиозном содержании. Здесь, в первую очередь, следует учитывать поздние книги, апокрифы, и, таким образом, ответ на этот вопрос приобретает огромное влияние на все воззрения христианского богословия, а именно, на принципы толкования, насколько оно само лежит в основании догматики. – Новозаветные писатели не вводят для своих религиозных понятий никаких новых слов и говорят, используя язык греческого В.З. и апокрифов. Спрашивается, обладают ли они, тем не менее, иными религиозными представлениями, которые влекут за собой и иное словоупотребление?

Или словоупотребление у них то же самое? В последнем случае в христианском богословии не было бы ничего нового, и поскольку все религиозное, если только оно не сиюминутно, закрепляется рефлексивно, ничего нового, стало быть,

нет и в самой христианской религии. Непосредственно герменевтически этот вопрос не разрешим, и ответ на него зависит от образа мыслей. Каждый обвиняет при этом другого в том, что тот почерпнул свои принципы из предвзятых мнений; ибо правильное мнение о Библии может родиться только из толкования. Основание для решения проблемы лежит, безусловно, в герменевтическом методе. С одной стороны, сквозное параллельное сравнение Н.З. и Септуагинты все же показало бы, встречается ли в одной из книг словоупотребление, чуждое для другой. Но и тогда оставалась бы лазейка: языковая область де шире, чем эти останки. На помощь, с другой стороны, приходит голос чувства, подсказывающий, что Н.З. сам по себе является развитием новых представлений. Но этому голосу можно доверять, только имея общее филологическое и философское образование. Лишь тот, кто докажет, что успешно проводил подобные изыскания и на других примерах и не даст сбить себя с толку, может стать здесь ведущим.

6. Если есть хоть какое-то, пусть даже, по нашему мнению, второстепенное аномальное еврейское влияние на новозаветный язык, то спрашивается, в какой мере его следует учитывать при толковании. Здесь имеются две односторонние максимы. Согласно одной следует довольствоваться только одним языковым элементом до тех пор, пока не наступят трудности, которые преодолеваются с помощью другого. Но тем самым первый метод лишается искусства, и не годится для того, чтобы присоединить к себе второй. С тою же самою легкостью можно пытаться и дальше объяснять с помощью другого момента то, что находит свое истинное обоснование в чем-то другом, да и вообще это знание другого вновь отсылает нас к разрозненным наблюдениям. Но, следуя нашему предварительному правилу, что искусство должно вступить в дело с самого начала, стоит попытаться

составить себе общее представление о соотношении обоих моментов, отвлекаясь от всех частных трудностей, с помощью предварительного чтения и сравнения с Септуагинтой, Филоном, Иосифом, Диодором и Полибием.

Но бесспорно, что влияние еврейского языка на собственно религиозные термины исключительно. Ибо с первоначальным эллиническим – особенно в той мере, в какой им владели новозаветные писатели – заново развиваемое религиозное начало (не только) ни в чем не смыкалось, но даже простое подобие отвергалось из-за связи с политеизмом.

7. Отсюда происходит самое причудливое смешение аномального, которое, в свою очередь, разнится у каждого отдельного писателя. Потому главным правилом здесь остается: составлять для каждого слова из словаря греческого и эллинического языков и для каждой формы из греческой и сравнительной эллинической грамматики целостный образ и применять канон только по отношению к нему. – Совет начинающему – справляться в двуязычном словаре даже тогда, когда не за что зацепиться, дабы заранее предотвратить механическое привыкание.

Язык нуждается в специальной герменевтике ровно настолько, насколько он еще не имеет грамматики. Если грамматика языка уже разработана в соответствии с принципами искусства, то и с этой стороны не нужно никакой специальной герменевтики, общие правила применяются тогда лишь, согласно природе грамматической совместимости. Языки, в которых отношение между элементами предложения упорядочено и в сущности своей одинаково, также не нуждаются относительно друг друга в специальной герменевтике. Но если случается обратное, то, подобно специальной грамматике, не обойтись и без специальной герменевтики. Новозаветным языком является, безусловно, в первую очередь, греческий язык. Это язык, грамматика которого разработана в соответствии с принципами искусства. Но новозаветный язык находится с ней в совершенно особых отношениях. (...)

... Где искать помощи для понимания Н.З.? Сначала спросим, где, кроме Н.З., сосредоточены аналоги новозаветного языка? Чтобы выявить арамейский дух новозаветной идиомы, нужно обратиться к арамейскому языку. Нескольку упрощая, можно сказать, что тот диалект, на котором тогда говорили в тех землях и с которого началось искажение греческого языка, хотя больше и не был ветхозаветным еврейским, но все же так к нему близок, что в отношении влияния на греческий разница была незначительной.

Не будучи посвященным в чтение В.З. на изначальном языке, невозможно распознать гебраизмы. Но непосредственно в новозаветную языковую область входит александрийский перевод В.З. Здесь можно ожидать целый сонм гебраизмов, ибо, если кто-нибудь переводит произведения с родного языка на другой, чужой ему, едва ли сумеет стереть следы родного языка, особенно, когда он обязан следовать букве, что обуславливалось святостью В.З. Здесь перед нами языковая область, в сравнении с которой новозаветная представляется более чистой. Кроме того, сюда относятся апокрифы Ветхого Завета, которые изначально написаны на греческом, но по смыслу и духу являются еврейскими, как исторические, так и гномические. Всей своей структурой, даже отдельными выражениями и формами, они принадлежат к ветхозаветному типу. Далее, оригинально греческие сочинения урожденных иудеев, таких, как Иосиф и Филон, несвязанные особым образом с В.З. Эти авторы изучали греческий язык отчасти в школе, отчасти в повседневном общении; отсюда в их сочинениях постоянная борьба между чистым греческим, изученным в школе, и вульгарным греческим повседневной жизни, включавшим в себя гебраизированные элементы. Но, даже оставляя в стороне эту арамейскую смесь, греческий язык Н.З. хронологически следует отнести к македонскому языковому периоду, отличному от классического. Он точно попадает на время римского владычества. Согласно вышесказанному, в сочинениях этого времени можно ожидать появления латинизмов в судебных, административных и военных выражениях. Однако и теперь еще мы не отважимся проводить

параллели ко всему, что появляется в Н.З. Возникает вопрос, было ли христианство чем-то новым или нет? Часть наших богословов склонна полагать, что христианство естественным образом возникло из иудаизма, и видит в нем лишь только модификацию такового. Однако преобладает мнение, что оно есть нечто новое, возникшее либо в форме Божественного откровения, либо в какой-то иной форме. Но если оно в широком или узком смысле есть нечто новое, то в отношении языка Н.З. должны возникнуть трудности, которые внутри означенной языковой области, нового еще не знавшей, решены быть не могут. Всякая духовная революция творит язык, ибо возникают мысли и реальности, которые не могут быть поименованы с помощью языка, каков он был. Правда, их вовсе не удалось бы выразить, если бы в тогдашнем языке не было бы каких-то точек соприкосновения. Но без знания нового мы не поняли бы языка, даже оборачиваясь назад. Беспристрастность требует от толкователя, чтобы он не решал вопроса поспешно, а приступал к нему, только изучив сам Н.З., и в этом отношении. (...)

3. Второй канон. Смысл любого слова в данном месте должен определяться в связи с теми словами, которые его окружают.

1. Первый канон¹ является в большей степени исключительным. Этот второй кажется определяющим, скачок, который должен быть оправдан, или это скорей не скачок. Ибо, во-первых, от первого канона прямая дорога ко второму, поскольку каждое отдельное слово относится к определенной языковой области. А чего не ожидают встретить в ней, то и не привлекают при объяснении. Но точно так же и весь текст в большей или меньшей степени принадлежит к контексту и окружению всякого отдельного места. Во-вторых, точно так же от второго канона можно вернуться к первому. Ибо, если непосредственной связи между субъектом, предикатом и определениями для понимания недостаточно, то нужно прибег-

нуть к рассмотрению схожих мест, и далее при благоприятных обстоятельствах, выйти как за пределы произведения, так и за пределы творчества писателя, однако всегда оставаясь внутри одной и той же языковой области.

2. Поэтому различие между первым и вторым канонам скорее мнимое, чем истинное, якобы первый – исключающий, а второй – определяющий, но во всех частностях и этот является только исключающим. Всякое зависимое слово исключает только некоторые способы употребления, и определение возникает только из совокупности всех исключений. Поскольку этот канон в полном объеме содержит и теорию параллельных мест, то оба канона вместе вмещают в себя все грамматическое толкование.

3. Обратимся к определению формального и материального элемента, сосредоточившись на качественном и количественном понимании того и другого и исходя из непосредственного контекста и параллельных мест. Каждое из этих противопоставлений можно выбрать в качестве основного при разделении, и любой выбор будет иметь свои преимущества. Но все же первое более естественно, ибо проходит через все предприятие постоянно в двух направлениях.

4. Расширение канона за счет привлечения параллельных мест является только кажущимся, а использование параллелей ограничено канонам. Ибо только то место можно считать параллельным, которое по отношению к обнаруженной трудности мыслится как идентичное с самим предложением, т.е. в единстве контекста.

5. Если оба элемента являются основными, то целесообразно начать с определения формального элемента, т.к. наше понимание частного смыкается с предварительным пониманием целого, и предложение выделяется в некое единство только посредством формального элемента.

4. При определении формального элемента мы различаем элемент, связующий предложения, и элемент, связующий части предложения. Значение при этом имеет способ связи, степень такового и объем связанного.

1. Здесь нужно вернуться к простому предложению. Ибо связь отдельных предложений в период и связь периодов между собой является совершенно однородной, в то время как связь между членами простого предложения всегда иная. К первому относится союз со всеми его особенностями и все то, что его замещает, ко второму – соответственно предлог.

2. Как и везде, в речи существуют только два вида связи, органическая и механическая, т.е. внутреннее слияние и внешнее соединение. Противоречие между ними не является строгим, и кажется, что один вид часто переходит в другой. Каузальная или противительная частица является зачастую соединительной; в этом случае она утрачивает свое собственное содержание или становится излишней. Зачастую, однако, соединительная частица выражает внутреннюю связь, и в этом случае она выделяется или становится эмфазой. Таким образом, качественное различие (по способу связи) переходит в количественное (по степени связи); но чаще всего это только видимость, и нужно всегда обращаться к первоначальному значению.

Часто видимость возникает лишь постольку, поскольку неверно представляют себе объем и предмет сцепления. Поэтому никогда нельзя судить об одном моменте связи, предварительно не рассмотрев все остальные вопросы.

3. Органическая связь, хотя и бывает то более прочной, то более свободной, но никогда не позволяет предположить, что соединительная частица полностью утратила свое значение. Такое предположение возникает, когда кажется, что непосредственно связанное не соответствует друг другу. Но,

во-первых, последнее предложение перед частицей может быть придаточным, а само сцепление относится к предшествующему главному предложению. Точно также и первое предложение после связи может быть вводным, а самоё сцепление относится к следующей главной мысли. Подобные придаточные предложения не мешало бы превращать в промежуточные предложения, дабы выявить область каждого средства сцепления. Но все же всякая манера письма поддается этому лишь в определенной и совершенно разной степени, и чем эта манера легче и непринужденней, тем более автору придется полагаться в этом деле на читателя. Во-вторых, и сцепление зачастую относится не к одной завершающей главной мысли, а к целому ряду таковых, поскольку целые отрывки нельзя связать иначе. В текстах с более четкой композицией случается, что при переходе от одной части к другой суть отрывка повторяется, превращая связь в целое предложение, которое в то же время содержит главное содержание следующего отрывка; и тяжеловесные формы выдерживают при этом определенные соединения и повторы, хотя и здесь следует соблюдать меру. Но при более легких формах читатель сам должен быть внимательным, и потому общий, предваряющий понимание частных обзор необходим вдвойне.

Существуют и субъективные связи, т.е. такие, где обосновывается, для чего было высказано предыдущее. Если такие связи по форме не отличаются от объективных, то легко создается впечатление, что это связано с сужением значения сцепляющих частиц и есть простой переход.

4. То, что простое соединение бывает средством эмфазы, следует уже из того, что все наши органически сцепляющие частицы первоначально были только пространственными и временными.

Так и нынешние, просто соединительные могут в отдельных случаях усиливаться. Канон здесь исходит из того, что простое соединение нельзя предполагать внутри целого заранее. Таковое преобладает в описаниях и повествованиях, но и здесь не в чистом виде, ведь иначе пишущий был бы просто их органом. Но, где подобное не осуществляется, оно находится лишь в подчиненном положении, т.е. либо вбирается в органическое сцепление, либо из такового выводится, либо же подготавливает его. Но там, где органического сцепления больше нет, оно должно вылиться в простое присоединение.

Всеобщая⁴ формула для трудных случаев связи между предложениями состоит в следующем: Если связываются предложения с неравноценным содержанием, то связь не является непосредственной, и нужно вернуться к предложению с равноценным содержанием.

5. Применение к Новому Завету.

1. Если даже думать о том, что пишешь на (чужом) языке текста, замысел возникает, как правило, на родном языке, и уже в первом наброске заложены связи между мыслями, то, согласно вышеизложенному, у новозаветных писателей, следует обратить особое внимание на смешение греческого и еврейского.

2. Это смешение тем значительней, чем более оба языка разнятся формами связи. Новозаветные писатели, не обладая ученостью, не могли овладеть всем синтаксическим богатством греческого языка, т.к., идя таким путем, меньше всего обращаешь внимание на подобные вещи, и значимость той или иной формы связи на слух усваивается плохо. Этот недостаток заставляет робеть даже при использовании уже по-настоящему известного. Греческие обозначения, которые в большинстве случаев соответствовали какому-ни-

будь еврейскому, с тем большей легкостью принимались за равнозначные.

3. Поэтому необходимо из греческих значений одного языкового знака и соответствующих им еврейских образовать одно целое и, исходя из него, судить, как уже было предписано выше.

4. Более легкая манера письма допускает полную свободу в использовании этого элемента (соединительного), т.к. искусственная переплетенность самих предложений минимальна.

5. В этом смысле новозаветные писатели все разные. Например, Павел, наиболее греческий из всех, наименее – Иоанн.

6. Исключительно важно при несовершенстве вспомогательных средств быть внимательным тогда, когда не обнаружено никакой трудности, в противном случае никогда не будешь чувствовать, что можно себе позволить. Оттого-то и здесь промахи встречаются нередко.

6. Задача определения связующего элемента в предложении решается с помощью всех средств.

1. На общее содержание воздействуют прежде всего главные идеи, в непосредственно связанных предложениях – их субъекты и предикаты, т.е. материальный элемент.

2. В ближайшем окружении воздействует комбинированный формальный элемент, т.е. весь его распорядок объясняет частицы и наоборот.

3. В дальнейшем надлежит обратить внимание на сочинительные или подчинительные способы связи.

4. Применение должно руководствоваться правильным смыслом; но последнее определение должно исходить из непредвзятого воссоздания.

7. Несвязанные предложения появляются только тогда, когда одно предложение, либо вследствие причинного, либо линейного соединения, мыслится в единстве с предыдущим.

1. Первое возникает, если предложение непосредственно вычленяется из предыдущего, в котором уже содержится его смысловой стержень, второе – если точно согласованные элементы соплагаются. Оба случая не так уж редки.

*Добавление*⁵. Определение несвязанных предложений в связном мыслительном ряду происходит с надлежащей модификацией из-за отсутствующего формального знака соединения по канону⁶.

В новых языках несвязанные друг с другом предложения встречаются намного чаще, чем в древних. Мы пишем для глаза, а древние писали для уха. Несвязанное встречалось у них, следовательно, намного реже, а связующие частицы – чаще.

2. Все эпитеты в определенных случаях могут опускаться до уровня энклитической незначительности, и тогда обозначенная ими связь является максимально свободной.

3. При недостатке критического сознания автор сам не имеет определенного представления о связях.

4. Новозаветные писатели используют всевозможные способы создания расчлененных периодов, как в дидактических сочинениях, где господствует причинная связь, так и в исторических, где царит повествовательное соединение, и, кроме того, отсутствует навык и многое используется по неведению. Оттого то и другое дается с таким трудом. Часто не знаешь, как далеко простирается дидактический ряд, а где начинается историческое целое. Только Павел и Иоанн выделяются из всех, первый дидактически, второй исторически. Заинтересованность в более строгом определении, нежели у самого автора, зависит от интереса догматическо-

го и от интереса к исторической критике. Оттого и догматические, и критические трудности зависят от толкования.

Т.к.⁶ изначально у древних пунктуации не было, нужно в древних текстах полностью от нее отвлечься, не то попадешь в ученики к тому, кто ввел ее как толкователь, и будешь у него в зависимости и рабстве. И без того, системы пунктуации неустойчивы и несовершенны, как древние, так и новые. Следует приучиться поэтому определять связи между предложениями, руководствуясь чисто внутренними соотношениями.

8. Из всех связей внутри предложения, наибольшую трудность вызывают предлог и отношения прямой зависимости.

1. При этом значения не имеет, состоит ли предложение из субъекта и предиката или же включает еще и копулу. Непосредственную связь обоих не распознать невозможно, кроме того, будучи распространены с помощью прилагательных и наречий, они срастаются с ними в одно целое. Предлог, в свою очередь, присоединяет к глаголу его ближайшие характеристики, а именно направленность, предметность и т.д.

Genitiv, Status constructus и т.д. является ближайшим определением субъекта. Смысл предлога легко определяется субъектом и объектом. Решающим при этом является материальный элемент.

В⁷ отношении материальных элементов простого предложения возникает вопрос, является ли оно двусоставным (субъект и предикат) или трехсоставным (куда входит еще и копула). Первое воззрение является динамическим, второе – атомистическим, ибо полагают, что связь есть нечто, что располагается рядом с частями. Бросается в глаза, что второе воззрение до сих пор считается общепринятым. Если придерживаться этой точки зрения, то на вопрос, как, например, обстоит дело с предложением *дерево цветет*, придется ответить, что оно, собственно говоря, трехсоставно, а именно, *дерево есть цветущее*, но это

вовсе не соотнобразуется с языком, т.к. отсюда следует, что существует лишь один глагол, глагол быть. Но это очевидно [77] не так. Динамическое понимание предложения изначально присуще самим языкам.

2. Гебраизмы в Н.З. и здесь преобладают, равно как и в связях между предложениями, и нужно всегда иметь в виду соответствующую греческому языку еврейскую форму.

9. Бывают случаи, когда трудность в равной мере зависит как от материального, так и формального элемента.

Например, гифилическое значение глаголов и т.п. можно рассматривать как спряжение (формальный элемент) и как собственно отдельное слово (материальный элемент), и это относится ко всем производным формам глагола, так что противоположность дана не в чистом виде, а лишь как переход. В таких случаях всегда нужно смотреть, каким способом достигается более чистое и богатое целое, из которого можно было бы конструировать дальше.

10. Субъект и предикат определяют друг друга, однако не полностью.

Самым точным взаимным определением является фраза, которая в техническом отношении образует наиболее узкий и прочный круг. Противоположной точкой, с одной стороны, является спонтанная мысль, когда субъекту приписывается редкий предикат, лежащий вне привычного круга, а, с другой стороны, гнома, которая также не имеет уточняющих средств определения, но именно поэтому сама остается неопределенной и всякий раз определяется соответствующим применением.

11. И субъект, и предикат, как по отдельности, так и по отношению друг к другу, уточняются в своем определении при помощи уточняющих их слов.

1. Прилагательные и наречия указывают на определенную направленность и многое исключают. Также и предложные соединения являются уточняющими определениями глагола, и из этого явствует, что предлог сам по себе становится составной частью глагола.

2. Этого, однако, недостаточно, и мы обретаем по-настоящему положительный элемент тогда, когда заняты воссозданием целого мыслительного ряда.

12. Для Н. Завета это задача чрезвычайной важности и сложности из-за новизны и единственности понятий.

13. Если непосредственного определения недостаточно, необходимо ввести опосредованное на основе идентичности и противоположности. Подобие и различие объясняются ими.

14. Противоположность присутствует повсюду, но более всего в диалектической композиции.

По отношению к Н.Завету это, прежде всего, Павел.

15. Правила нахождения для идентичного и противоположного – одни и те же.

1. Без соотнесения с высшей идентичностью, никакого суждения о противоположном вынести нельзя, равно как и идентичность познается только на фоне общей противоположности.

2. В равной мере оба должны удостоверять, что мы соотносим два предложения так, как их соотносил сам автор.

16. Предложение, в котором продолжает господствовать все тот же субъект или предикат, следует рассматривать как относящийся к непосредственному контексту (идентичность).

17. Если то, что возвращается после перерыва, относится к основному контексту речи, а само прерывающее – нет, то идентичность наиболее очевидна.

18. Если возвращающееся – второстепенная мысль, а прерывающее – главная, то убедиться в идентичности можно только по степени подобия в контексте и типической идентичности в самом обороте мысли.

19. В поисках главных мыслей можно выйти за пределы самого текста и обратиться к другим текстам того же автора, которые позволяют рассматривать себя как одно целое с первым, а также и к текстам других, которые близки ему школой и воззрениями.

20. Что касается второстепенных мыслей, то при рассмотрении п.18 единство языковой области и манера письма оказываются более существенными, чем личность и взгляды.

В какой мере возможно объяснение второстепенных мыслей на основании других мест, в которых главная мысль одна и та же? В качественной, но не количественной.

21. Чем больше в поисках¹⁵ мы полагаемся на других, тем больше должны быть готовы контролировать их суждения.

22. Применительно к Н. Завету филологический подход, рассматривающий любое произведение любого автора изо-

лированно и догматический, рассматривающий Н.З. как Одно произведение Одного писателя, – противостоят друг другу.

23. Они сближаются, если учесть, что целью религиозного содержания является идентичность школы, а целью второстепенных мыслей – идентичность языковой области.

24. Догматически ложным является канон: Образное словоупотребление предполагается только в исключительных случаях⁸. Этот канон исходит из одной определенной личности Святого Духа как писателя.

25. Филологический подход не согласуется со своим собственным принципом, если он пренебрегает общей зависимостью наряду с индивидуальным творчеством.

26. Догматический выходит за пределы своих потребностей, если он, наряду с зависимостью, отрицает индивидуальное творчество, тем самым разрушая себя.

Он просто сам себя разрушает, ибо в этом случае приписывает Святому Духу неоспоримую смену настроений и изменения во взглядах.

Добавление⁹. Это противоречило бы учению Павла об отношении Одного и того же Духа к различным дарам у отдельных членов общины 1. Кор.12.

27. Еще остается вопрос, какой из двух следует считать главным, и филологический подход должен здесь добровольно признать свою зависимость.

Отчасти индивидуальность новозаветных писателей есть только результат их отношений ко Христу, отчасти, что касается более самобытных от природы – Павла и Иоанна, то первый заново обратился, так что даже лучше объясним из

произведений других новозаветных писателей, чем из собственных дохристианских; а второй явно пришел ко Христу молодым и только как христианин раскрыл свою самобытность.

28. Если филологический подход этого не признает, он уничтожает христианство.

Ибо, если зависимость от Христа в сравнении с личной самобытностью и местными недостатками равна нулю, то сам Христос есть ноль.

29. Если догматическое [воззрение] распространяет канон об аналогии веры за эти границы, оно уничтожает Писание.

Ибо *locus communis* понятных мест Писания нельзя использовать для объяснения темных, не толкуя Писание с позиций догматического сознания, которое, уничтожая индивидуальное авторство текста, само противоречит принципам догматики. Ибо составление таких *loci communes* является догматической операцией, причем наряду с сомнительной самобытностью личности, следует отвлечься и от все же несомненной побудительной причины.

Всякое место есть взаимопроникновение общего и особенного, и, следовательно, не поддается верному объяснению с опорой только на общее. А общее также не составить верно, пока не объяснены все места, и зыбкое противопоставление ясных и темных мест сводится к тому, что ясным первоначально было лишь одно место¹⁰.

В отношении¹¹ единства и гармонии мыслей в Н. З. аналогия веры является, безусловно, истинным понятием.

30. Аналогия веры может проистекать только из правильного истолкования, и канон, будучи истинно герменевтическим, гласит: где-то при толковании допущена ошибка

ка, если все связанные друг с другом места не образуют гармоничного целого.

Итак, можно лишь утверждать, что вероятность неправильного объяснения падает на то место, которое в одиночку противится выявлению такого целого.

31. Единство и различие Нового Завета можно сравнить с единством и различием Сократовской школы.

Также¹² и Сократ, учитель ничего не писал сам. Его взгляды передают только сочинения его учеников. Хотя после его смерти они и развивались самобытно, но во всех сохранился сократовский колорит. Никто не сомневается в идентичности и самобытности сократиков. Точно так же и в отношении учеников ко Христу. Но родство новозаветных писателей сильнее, чем у сократиков, ибо сила единства, исшедшая от Христа, была сама по себе большей, и даже у тех апостолов, которые, как Павел, обладали незаурядной самобытностью, она была настолько могуча, что в своем учении они ссылались исключительно на Христа. Даже несмотря на то, что Павел как святитель язычников действовал в ином, более широком круге, нежели Христос, запас единства, исшедший от Христа, существенно не истощался. Ведь, если идея обращения язычников стала осознаваться в апостольской среде преимущественно только благодаря Павлу, то Павел сам не ведал никакой иной силы кроме той, что исходила от Христа, и если бы этой идеи не было в учении Иисуса, то другие апостолы никогда не признали бы Павла не только апостолом, но и просто христианином. А у сократиков, напротив того, мы видим, что они часто заняты предметами, которых сам Сократ не касался, и в этом-то свободно проявлялась их самобытность и отличие от него.

32. Филологическое разъяснение должно предшествовать сопоставительному использованию Нового Завета.

Без¹³ последнего (догматического истолкования) богословская задача разрешена не полностью, но без предшествующего

филологического объяснения, которое пытается понять всякую мысль и выражение из контекста, нельзя приступить к нему со спокойной совестью.

33. Принципы параллелизма по отношению к обоим различны из-за возможности одинакового содержания при совершенно различном словоупотреблении.

34. Существенным является полное размежевание процессов (филологического и догматического), и толкователь должен отчетливо осознавать, каким он в данный момент занят.

35. Если истолкование, предполагающее знание языка, ведется точно так же, как и то, посредством которого это знание возникает, то с помощью параллельных мест в кругу одного слова следует выделить определенную языковую область.

Собственно говоря, все, что словари под определенными значениями отмечают как авторские, есть собирание параллельных мест.

Знание¹⁴ языка возникает благодаря герменевтическим операциям. Прежде всего, по возможности наиболее полные сведения об отдельном авторе, т.е. использование параллелей. Ибо отсюда мы черпаем сведения полезные для языка, для определенных областей, философской, риторической, математической и т.д. При этом все в основном сводится к тому, чтобы те выражения, которые чаще всего встречаются в основных частях текста, торжественные наименования каждого предмета и их перетекание во всеобщее словоупотребление, представить во взаимосвязи. Так из обеих операций возникает настоящий словарь; он указывает для каждого слова его основное место и, исходя из этого, отражает распространенность употребления в смежных областях, по возможности, учитывая историю и хронологию. Насколько здесь необходимо использование параллели-

лей, часто в самом широком смысле, видно из того, что, сравнивая, переходят к родственным языкам, к исходному языку, стало быть, истолкованию никак не обойтись без использования параллельных мест в узком и широком смысле. Знание языка, в котором нуждается истолкование, все еще несовершенно. Его хватает лишь на то, чтобы начать художественное толкование. Но именно потому грамматическое толкование как искусство оказывает обратное воздействие на расширение и совершенствование знания языка.

36. Этим сильно ограничивается старое правило, гласящее, что при наличии следов в самом Писании, средства для его объяснения не следует искать за его пределами.

1. Ибо, если слова с тем же значением все-таки встречаются за его пределами, то их, очевидно, включили бы в словарь. На разницу между легкими и трудными местами нельзя приводить в качестве аргумента, хотя из него-то и исходили в том правиле.

2. Особенно в отношении главных мыслей оно в Н.З. весьма ограничено тем, что религиозный переворот затронул не всё, и некоторые представления остались такими, какими они были у современников, отчасти же потому, что представления того времени приводились, чтобы противопоставить их христианским.

3. В отношении второстепенных мыслей очевидно, что новозаветному писателю другие новозаветные не ближе, чем неновозаветные, имеющие с ним одно мировоззрение, уровень образования и общую языковую область.

4. Еще меньше это правило годится для Н.З., если под Свящ. Писанием понимать и Ветхий Завет. Ведь он содержит в направленности главных мыслей много ошибочного, ставшего чуждым всей новозаветной эпохе, а направленностью второстепенных мыслей принадлежит эпохе, из которой лишь немного унаследовано сознанием того времени.

37. *Поскольку смысл содержится не в отдельных элементах, а только в их совокупности, то ближайшие параллели и есть те, которые эту совокупность проявляют.*

Есть некоторая доля произвола в том, когда какое-нибудь слово объявляется темным, ибо так же легко им может оказаться и другое, напр., Ио.7,39., где напрасно теряли бы силы, наугад перебирая различные значения речушка *agion*, а правильной параллелью на самом деле являются Деяния апостолов 19,2., и действительно можно сказать, что трудность заключена в *epai*, которое здесь употреблено не в строгом смысле, но означает наличествовать в явлении, быть сообщенным.

38. *На количественное понимание следует обращать точно такое же внимание как и на качественное.*

Иными словами обращаться к нему не только в сложных, но и в простых местах, в формальном и материальном языковом элементе, в словах и целых предложениях.

39. *Минимум количественного элемента есть избыточность, максимум – эмфаза.*

1. Избыточность возникает тогда, когда часть ничего не вносит в состав целого. Но такого по существу никогда не бывает.

Эмфаза заключается в следующем: во-первых, если слово берется в своем наибольшем объеме, в каком оно обычно не употребляется, а во-вторых, когда должно выявить все возбуждаемые им побочные представления. Последнее – бесконечно.

2. Поскольку конечные точки, собственно говоря, не заданы, то обычно исходят из среднего уровня, как обычного; что ниже его, приближается к избыточности, а что выше – к эмфазе.

40. Все более или менее избыточное, нуждаясь в некоем обосновании, возникает либо под воздействием музыкальности языка, либо механической аттракции, и одно из них нужно уметь доказать, если желают рассматривать нечто как избыточность.

1. Механическая аттракция наступает, когда связь двух речевых отрывков приобретает вид формулы и фразы.

2. Как следствие музыкальности, избыточность появляется в тех жанрах, в которых этот элемент более заметен и в тех местах, в которых логическое скорее отступает на задний план, в последнем случае, если форма противопоставления отсутствует полностью.

3. Такой избыточностью могут обладать части субъекта или предиката, если они раздроблены. Далее, побочные определения одного или другого, если им ничто не противопоставлено.

41. Эмфаза выделяется с помощью ударной позиции и других признаков.

1. За пределы обыкновенной значительности никто не может выйти бессознательно, нельзя не заметить и желания привлечь внимание, т.к. эмфатическое употребление слова всегда есть сокращение, стремление вложить в слово что-то, что могло бы стоять и рядом с ним. Если первое не происходит с надлежащей ясностью, то каждый воспользуется другим.

2. Всегда должен наличествовать тот речевой отрывок, по отношению к которому другой выступает как эмфаза, и это должно выделяться через сопоставление.

42. Максима, толкующая все возможное как тавтологию также ошибочна, как и та, которая все возможное считает эмфазой.

1. Первая из названных – новейшая. Полагают, что она в достаточной степени оправдывается преобладающей в Н.З.

формой параллелизма и, как правило, незначительной логической строгостью; однако напрасно, и придется в соответствии со сформулированными выше положениями, отказаться от нее. Особенно это оправдывается, по их мнению, любым подобием синонимии.

2. Вторая из названных – старейшая и связана с мнением, что автор – Святой Дух, который ничего напрасно не делает, а потому нет ни избыточности, ни тавтологии, и сначала образует эмфазу все родственное, а потом уже вообще все, ибо в каждом слове имеется некий избыток, если оно не окончательно исчерпывается непосредственным контекстом. Но т.к. личность писателя никогда не исчезала из поля зрения слушателей и читателей, и они могли судить о речи или тексте только на основе обычных представлений, то не поможет и уловка, что Святой Дух имел якобы в виду весь верящий в богодухновенность христианский мир, который мог судить о Нем только по сформулированной максиме, тогда как самый этот христианский мир возник лишь правильно уразумев то, что было сообщено первым христианам, – так что эту максимум следует просто-напросто отбросить.

3. Поскольку истина лежит посередине, невозможно предложить никакого другого правила оценки, кроме той, которая не упускает из виду обе крайности и задается вопросом, применение какой из них менее противоестественно. Особенно внимания здесь заслуживают образные выражения, ибо, будучи рассмотрена эмфатически, всякая метафора есть компендий притчи, а притче точно также можно придать эмфатичность. Но судить о том, относится ли высказанное в притче, к той же самой области, в коей действие притчи происходит, следует согласно сформулированным правилам. Иначе, кроме примерок да накладок, ничего не получится.

С другой стороны, нужно принимать во внимание, насколько метафора близка фразису. Ибо ни от какого эмфазиса

нельзя ждать одной и той же меры. Чаще всего эмфазис преобладает в строго диалектическом или остроумном докладе.

43. Предполагаемая мера избыточного и эмфатического зависит не только от речевого жанра, но и от уровня развития предмета.

Если предмет уже должным образом обработан для области представления, то можно отталкиваться от среднего уровня, и только от речевого жанра зависит, где следует ожидать больше эмфазы, а где – избыточности. Если же предмет еще нов, а язык для него пока не создан, то возникает неуверенность, достигнут ли избранные элементы цели, и там, где таковая опирается на нечто определенное, возникает склонность недостаточно надежное подтвердить посредством другого выражения. Так возникает нагнетание, которое принимают то за тавтологию, то за эмфазу. Истина же состоит в том, что следует рассматривать их ни как тождественные, ни как противоположные, но как единство, а представления выводить из них, вместе взятых. В Н.З. в наименьшей степени это наблюдается у Павла, т.к. его терминология основана на множестве устных поучений, в наибольшей же – у Иоанна. Неверно увиденная эмфаза привела к тому, что все отдельные выражения обновление, просветление, возрождение были включены в понятийную систему догматики, из чего возникло слишком много ненаучной путаницы. Ложная тавтология привела к тому, что в выражения вкладывали минимум содержания и таким образом упускали само понятие.

44. Количественное понимание предложений сводится к количественному пониманию элементов и способов связи.

1. Предложения соотносятся, с одной стороны, друг с другом, с другой, – с речевым единством. В последнем слу-

чае все сводится к противоположности *главных и второстепенных мыслей*, в первом – к противоположности отношения сочинения и подчинения.

Все то, что говорится ради самого себя, является главной мыслью, а все то, что говорится для разъяснения – второстепенной, хотя последняя часто бывает более подробной, чем первая. Главные мысли распознаются благодаря заключенным в них понятиям. Поскольку второстепенные мысли избыточны и в идеале не должны появляться в строго научном докладе, соотношение главных и второстепенных мыслей следует рассматривать так же, как и соотношение избыточности и эмфазы.

2. Находятся ли предложения в отношении сочинения и подчинения, определяется частицами и способами связи; но содержание является дополняющим. Чем более определенными в языке и речевом жанре являются связующие формулы, тем меньше нужды спрашивать о содержании предложений, и наоборот, чем яснее контекст, тем меньшую роль играет аномалия в использовании связующих форм.

3. Но в свободных формах, какими вообще являются новозаветные, главные и второстепенные мысли, исходя из языковой области, различить трудно, т.к. сама эта противоположность не достаточно прочна, и при легком изменении материи одно переходит в другое. Тогда на помощь приходит иное и, определив отношение одного предложения к другому, нужно при его посредстве определить и отношение ко всему целому.

Добавление. Это объясняет и неправильную классификацию догматических мест, которая, собственно, основывается на максиме, что в новозаветных книгах все догматическое тут же становится главной мыслью. Но эта максима не выдерживает критики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предметы, рассмотренные нами напоследок, отсылают нас, прежде всего, к техническому толкованию. Не то, чтобы максима, гласящая, что, собственно, каждая сторона самодостаточна, была бы неверна в принципе; однако она предполагает такое совершенное знание языка, которое без исчерпывающего истолкования невозможно.

Ведь тогда, когда мне не хватает знания языка, я хоть и обращаюсь к языковым знаниям других, но использую их только в меру своего ущербного знания языка: поэтому в каждом таком случае техническое толкование будет дополнением. Верно и обратное: знания других об авторе я сам могу использовать только, прибегая к собственному неполноценному знанию о них, и тут в качестве дополнения мне послужит грамматическое толкование.

[Шлейермахер сам помечает на полях своей тетради, что в 1828 году он, начиная с п.4, изменил ход изложения, выдвинув на первое место материальный элемент. Еще значительно изменение 1832 года с п.3. Но заметки на полях не дают докладам 1828 г. и 1832 г. ни связного и ясного компендия, ни просто указаний. Сравнение конспектов, сделанных позднее, показывает, что устный доклад, начиная с 1828 года, становясь все более независимым от рукописного наброска, то сокращался, опуская отдельные части, то расширялся, вбирая в себя новое и меняя свою последовательность. В этих условиях было невозможно сохранить метод композиции, которому он следовал до сих пор. Дабы не упустить нечто существенное и значимое, представляется целесообразным сначала привести полный текст доклада, каким Шлейермахер составил его в 1819 году, снабженный от-

дельными пояснениями и разъяснениями из лекции 1826 года, а потом, по записям, – последний, наиболее полный доклад 1832 года, по возможности его сохранив.]

Если, применив первый канон к Н.З. (пп.1 и 2), мы и дальше будем следовать грамматическому толкованию, то наиболее благоприятным случаем будет тот, когда после надлежащей подготовки, к коей относится обзор целого, мы, продолжая читать текст по частям, сумеем определить единичные элементы предложения непосредственно из контекста, не оставив и сомнения в том, что поняли предложение так, как его мыслил себе автор. Если это не так, то нам необходимо попытаться воссоздать первоначальную языковую значимость связанных в одном предложении элементов. Для этого мы пользуемся словарем. Нужно, однако, воссоздать языковую значимость *всех* элементов предложения, а не только того, о которой претыкаешься, потому что часто случается, что мы претыкаемся о какой-то один элемент вследствие незнания другого. Поэтому надлежит исследовать все.

Здесь есть и свои исключения, если, например, на основе прежнего употребления и языкового навыка уверен в том, что неизвестен лишь один элемент. Но не обойтись без тщательной проверки, дабы не попасть впросак, чего легко избежать при более строгом подходе.

Если мы надлежащим образом воссоздали все языковые значения, то необходимо правильно определить местную значимость каждого слова в речевом контексте. При этом следует наметить границу. Она проходит там, где слияние существительного и глагола образует предложение, причем тот субъект есть этот предикат, которые взаимно определяют друг друга. Граница расширяется, если мы представляем себе предложение равномерно распространенным, так что каждый элемент имеет при себе еще и определение. Таким

образом, мы располагаем элементами, посредством которых можем приблизиться к решению задачи. А именно, существительное определяется не только глаголом, но и тем, что прилагается к нему, иначе говоря, влияние, которое глагол оказывает на существительное, получает, благодаря тому, что прилагается к существительному, определенное направление. Но так происходит только в простых предложениях. Ибо часто на несколько глаголов приходится только один субъект. Тогда все глаголы являются определяющими и относятся к существительному в одном и том же смысле, если не очевидно, что идет игра с различными языковыми значимостями. Но определение исходит не только от целого ряда глаголов, но одновременно от всех сопутствующих глаголам и существительным второстепенных членов. Спрашивается, по какому признаку мы узнаем, что спорный по своей местной значимости элемент подразумевает в одном месте, с которым мы работаем в данный момент, нечто иное, нежели в другом? – Различие каждый раз зависит от комплекса мыслей. Если содержание мыслительного ряда заранее указано в заглавии, то можно заключить, что означенное им понятие является главным, и есть все основания предполагать, что обозначающее его слово везде будет встречаться в одном и том же смысле, даже если понятие разделяется. Ибо это обозначение осталось бы обозначением целого, и было бы нелогично, использовать выражение лишь в частичном смысле, без четкого указания на это.

Если, благодаря заглавию или предварительному прочтению, нам дано видеть все целое, то мы сможем определить границу, внутри которой главные мысли и выражающие их языковые элементы употреблены синонимично. Подобного обзора нельзя достичь, не заметив при этом, появляется ли одно и то же выражение в разных местах в различных значениях. Однако этот канон идентичности имеет силу только

для тех выражений, которые являются существенными членами речевой цепи. Ибо у несущественных, ничто не помешало бы говорящему употребить выражение в разных местах по-разному, только соотносясь с общей значимостью. Но это все же только относительная противоположность. Ибо то, что в мыслительном комплексе выступает как само по себе незначительное, может с развитием такового стать существенным в своем месте. Нам нужно, следовательно, искать другой противоположности.

Как только мыслительный комплекс в упорядоченной речи выходит за пределы возможной лаконичности, мы получаем не только различие между главными и побочными мыслями купно со всеми сопутствующими им языковыми элементами, но и противоположность между такими языковыми элементами и мыслями, которые суть части целого, и такими, которые, собственно, являются не частями его, а только изобразительными средствами. Если, например, в связной речи некая мысль становится ясной и наглядной с помощью сравнения, то сравнение есть лишь изобразительное средство, предмету по сути чуждое, которое вводится в текст лишь затем, чтобы в качестве чужеродного придать одной из частей целого большую определенность и ясность. Сие может быть чем-то единичным, а может пронизывать и все повествование. Здесь мы имеем действительное внутреннее различие в речи, а не просто больше или меньше. Сталкиваясь с такими образами и сравнениями, мы лишаемся по отношению к конструкции целого из его существенных элементов всякого объективного признака, ибо сравнение, образ можно повернуть то так, то этак. —

Как же соотносится канон об определении местной значимости с первым каноном¹? Он является лишь отрицательным, исключаяющим или препятствующим тому, чтобы оп-

ределение местной значимости производилось вне языковой области, общей автору и читателям.

Однако всеобщая языковая область точнее определяется в отдельном речевом акте или тексте, и этой более точной определенности в контексте касается наш второй канон³, а потому он является положительным.

Можно поставить вопрос об объеме и распространенности этого положительного канона. Как только для того, чтобы определить местное значение слова, мы выходим за пределы простого и сложного предложения, в дело вступают параллельные места. В первую очередь, это места из того же самого текста, в котором выражение употреблено одинаково. Но только, если условия определения местной значимости в обоих контекстах совпадают, и мы не выходим за пределы первого канона, т.е. параллель лежит в той же языковой области, она параллель становится объяснительным средством. Только при этом условии я могу приводить параллели из других текстов того же автора и даже из текстов других авторов.

Другое расширение канона возможно, если писатель сам объясняет предложение в том же самом мыслительном комплексе с помощью противопоставления. Чем легче его уяснить, чем недвусмысленнее, тем толковее. Подобные противопоставления зачастую оказывают на герменевтическое определение более сильное воздействие, чем аналогии, ибо противопоставление намного убедительнее, чем аналогия или простое отличие. Здесь мы находимся в области самого предмета; принимая одно и исключая другое, мы определяем и понимаем одно через другое более остро и точно. Противопоставление есть, следовательно, важное подспорье для герменевтики. Если противопоставление и аналогия соединимы в одной языковой области, и в таком же или подобном мыслительном комплексе, то объяснение еще зна-

чительнее. Но это вспомогательное средство герменевтики имеет силу, в первую очередь, для тех выражений, которые занимают важное место в контексте целого, относятся к частям самого предмета. Но стоит возникнуть темнотам, когда писатель ищет объяснения своему предмету через вещи, лежащие за его пределами, то не остается ничего другого, как искать, где речь *ex professo* идет о том, что только вскользь затронуто в спорном месте, где искомое употребляется аналогичным образом.

Но в этом случае следует точнее определить отношение между тем, что объясняется здесь, а что — там.

Если мы последуем за этим составленным нами канон, то нам придется, действуя органически, в отношении элементов речи, способных вызвать споры, *провести различие*, в первую очередь, между *главными и второстепенными мыслями и простыми изобразительными средствами*. Если бы мы могли удержать эту классификацию везде подобным способом, то у нас была бы смычка с нашим предварительным методом, давшим нам общий обзор. Однако здесь появляется различие. Чем логичней речь, тем резче выступает в ней противопоставление между главными и побочными мыслями, и тем отчетливее композиция вырисовывается уже в результате общего обзора. Но если это ведет нас к полному пониманию, то часто благоразумнее временно не останавливаться на трудностях, связанных со второстепенными мыслями, а заняться главной, и в соответствие с ней строить понимание второстепенных мыслей. Где возможен такой логический анализ, там герменевтическое понимание облегчается. Но так бывает не всегда. У нас есть герменевтические задачи, в которых подобная операция не применима. Менее всего логическому анализу поддается лирическая поэзия. В ней царит свободное движение мыс-

ли, и потому трудно определить, что в ней относится к главным и побочным мыслям, а что – к простым изобразительным средствам. Главная причина этого в том, что в лирической поэзии, выражающей движение непосредственного самосознания, сама мысль, собственно говоря, является только изобразительным средством. Но если все мысли суть лишь изобразительные средства, то исчезает относительное противопоставление между главными и побочными мыслями. Точно также это противопоставление исчезает, только противоположным способом, там, где все мысли являются главными, т.е. в строго научном систематическом изложении. Здесь мысль есть непосредственная форма целого, а все единичное – интегрированная его часть. Вот мы и достигли обоих полюсов нашего канона, где он, по-видимому, имеет наименьшую ценность. Однако они наиболее подходят для того, чтобы прояснить применимость теории, находясь в противоположных точках.

Задача герменевтики при рассмотрении лирической поэзии особенно трудна. Лирический поэт погружен в совершенно свободное движение мысли, читатель же не всегда читатель лирический и потому неспособен своим собственным сознанием воссоздавать лирическое стихотворение. Сформулированный герменевтический канон исходит из посылки о связанном движении мысли и потому непосредственно не применим к лирической поэзии, ибо в ней преобладает несвязанность. Как же быть? Предварительное ознакомление с лирическим продуктом хотя и не показывает нам разницу между главными и второстепенными мыслями, но все же выделяет нечто, для нас несомненное. Прежде всего, это то, что является отрицанием связанного движения мысли, т.е. представляется как скачок и поворот. Но это ведет обратно к связанности, от которой не может полностью освободиться даже самое вольное движение мысли. Органическая

форма в лирическом предложении по существу та же, и способ соединения в ней такой же, как и в связанном изложении. Только форма связи более свободна. Языковые элементы суть те же, только в разных соотношениях. Но поскольку логическое противопоставление и подчинение отсутствуют, то лучше всего сразу, получив общее впечатление от целого, обратиться к единичному. Но это правило действует только в отношении языковой стороны, а не психологической. Иначе обстоит дело с систематическим научным изложением. Здесь все находится в отношении подчинения или сочинения отдельных частей целого. Общее впечатление об этом отношении мы получаем благодаря обзору, и тогда все сводится к тому, чтобы точнее определить отношение под- и сочинения в единичных случаях. Но в дальнейшем это не трудно, если только мы сможем правильно уловить структуру текста, какой представлял ее себе автор. Но как раз в этом и может заключаться трудность. Революции в области естествознания и этики привели к появлению новых систем и отказу от старых. Если от изложения более старой научной системы, усвоив ее, ни с того, ни с сего переходят к другой, новой, то в соответствии с установившейся конструкцией языка следует поступать так: не определять единичное до тех пор, пока не схвачено целое.

Если мы захотим сравнить единичное в новой системе с единичным в предыдущей, то возникнет непонимание, ибо положение единичного внутри целого будет всякий раз иным. Если есть переходы, точки соприкосновения между старым и новым, то процедура облегчается, но всегда остается по сути той же, т.к. изменение основывается на фактах, которые являются либо совершенно новыми, либо показывают совершенно новые отношения. Сообщая о новом прежним языком, создают новые выражения. Задача, в сущности, всегда состоит в том, чтобы создать герменевтическую конструкцию одним рывком и созерцать целое в его единстве.

Между названными конечными и пограничными пунктами, первый из которых мы можем обозначить в целом как поэзию, а второй – как прозу, располагаются всевозможные виды композиции и связанные с ними модификации герменевтического метода. Основное герменевтическое отличие поэзии от прозы состоит в том, что в первой единичное как таковое имеет особую ценность, здесь же – только в отношении к целому, к главной мысли. Из промежуточных видов композиции среди поэтических, драматический наиболее близок к прозе, в коей все стремится быть понятым как единство и в некотором смысле одновременно. Точно посередине располагается с поэтической стороны поэзия эпическая. Здесь всегда взаимодействует многое, но все в своей единичности. В первом случае, мы имеем дело с областью главной мысли, а там, где она проявляется в единичном, возникает область второстепенной мысли, но вокруг нее собирается общая поэтическая жизнь, и там в узком смысле мысли суть изобразительные средства. Точно также и в прозе существует форма, которая к лирической поэзии ближе других – эпистолярная. Здесь мысли свободно соединяются друг с другом, у них нет иных скреп, кроме самосознания субъекта, которое возбуждается то так, то эдак. Ее собственная область лежит в отношении обоюдного знакомства. Там, где знакомства либо нет, либо оно фиктивно, эпистола покидает свою область.

Сердцевину прозы в свою очередь образует историческое изложение. Здесь главные мысли суть части изложения, которые существенны для излагаемого факта. Предложения, которые сопутствуют его изложению, – побочные мысли и изобразительные средства. Дидактическое может приближаться к строго систематическому, но если изложение становится риторическим, то допускает наличие множества второстепенных мыслей и изобразительных средств.

Первоначальный вопрос состоял в том, насколько, согласно составленному канону, герменевтический[99] метод из-за подобных различий и нюансов подвергнется изменению. В связи со сказанным, вступает в силу следующее правило: По отношению ко всему, что относится к главным мыслям в некоем мыслительном комплексе, следует предположить, что оно употребляется в одном и том же значении, пока сохраняется один и тот же контекст. Но это правило не распространяется на то, что является только изобразительным средством. В разных местах текста оно может иметь разное местное значение. Парантезы не отменяют контекста и его идентичности. Они только прерывают его, после чего восстанавливается еще незавершенный контекст. Отчего у древних начало и конец парантез как будто затеряны и незаметны. Лишь там, где конец действительно задуман автором, контекст завершается, и тем самым отграничивается область, в которой следует искать определения неопределенного выражения в первую очередь. Но если завершённый контекст недостаточно выявляет сомнительное местное значение, то, обнаружив подобные мысли и вне данного контекста, пусть даже у другого писателя, но только внутри все той же языковой области, можно использовать таковые в качестве дополнения. Используя такого рода дополнения или объяснительные средства, следует тщательно учитывать степень родства, ибо от него зависит большая или меньшая оправданность употребления и большая или меньшая уверенность в нем. Если трудность лежит не в главной, а во второстепенной мысли, то определение местной значимости выражения следует искать там, где второстепенная мысль выступает как главная, но, чтобы быть уверенным, не в одном-единственном месте, а во многих местах.

Это правило основано на том, что, чем более выражение является второстепенной мыслью, тем менее можно предположить, что оно взято во всей своей определенности. На это есть психологическая причина. Сочиняя текст, писатель окружен представлениями, которые наряду с главными мыслями навязывают себя ему более или менее сильно. Эти сопутствующие представления обусловлены самобытностью писателя, и от этого также зависит, каким образом второстепенные мысли попадают в контекст. Чем более мы знаем об этой самобытности, тем проще вычлениить местную значимость выражения как второстепенной мысли из совокупной его значимости. Писатель может излагать свои главные мысли ясно и определенно, но в отношении второстепенных он не точен, потому что сопутствующие представления в его повседневной жизни не достигают полной определенности, оставаясь намеками; так что он, может быть, и не стремится придавать выражению большую определенность, чем та, которой обладает представление. У некоторых писателей второстепенные мысли находятся в объективном родстве с главной. Например, у тех, что привыкли рассуждать логически. Вообще, чем логичнее кто-то мыслит и пишет, тем дальше второстепенные мысли отступают у него на задний план. Но чем нелогичнее, тем вероятнее при малейшей аналогии появление самого чужеродного и отдаленного. У логических писателей мы принуждены точнее схватывать отношение второстепенных мыслей к главным, в то время как у других, чем чужероднее второстепенные мысли, тем меньше оснований относиться к ним строго. Из сказанного следует, что здесь герменевтическая операция переходит на психологическую сторону. — Если способ употребления языкового элемента во второстепенной мысли константен, как в большинстве торжественных выражений, тем меньше труд-

ностей, и тем больше уверенности. Чем слабее предмет закрепился в общем представлении, тем менее можно ожидать торжественных выражений. При этом следует иметь в виду – чем более общую форму приобрело торжественное выражение, тем менее оно интересно, тем легче обойтись и без него.

Так торжественные выражения устаревают и утрачивают свое значение. Если писатель сочиняет в таких торжественных формах, то становится он старомодным. Таким образом, здесь выступает другая значимость, в связи с которой следующее правило: Чем чаще в определенных комбинациях встречается второстепенная мысль и ее выражение, тем выше надежность и легкость понимания; но по мере их роста уменьшается значимость выражения. Поэтому всякий раз необходима правильная оценка значимости. – Приведенное выше правило определения местной значимости второстепенных мыслей, – сравнивать, где они выступают в качестве главных и где находится их настоящее место, применимо только там, где второстепенные мысли выражены просто и ясно, а не там, где они балансируют на границе ясного сознания и невнятицы. В этом последнем случае необходим косвенный метод. Здесь уместен вопрос, в каком направлении усвоенная второстепенная мысль могла бы способствовать действию целого? Поняв это, можно применить вышеуказанное правило и сказать, что автор извлек второстепенную мысль вместе с ее языковым выражением из того или иного параллельного комплекса и употребил ее в определенном смысле.

Это ведет к более точному рассмотрению отношений родства понятий и их обозначений, столь важных для герменевтической операции. Мы различаем языковое и логическое родство. Первое бывает двух видов, во-первых, родство

между словами-основами и их производными, во-вторых, равноправное родство между производными словами одного корня. Если основа вызывает уверенность, и производная форма известна, то весь метод сводится к расчету; ибо в основе лежит нечто общее для всех, единство, а в производных формах действует закон различий. Если основа данной словесной семьи неизвестна, но имеются производные слова другого слова-основы, о котором мне известно, что его словоупотребление подобно сомнительному, то я могу использовать и их в качестве разъясняющего родства. Хотя, по-видимому, это предполагает определенное соотношение.

Если для употребления корневого слова я не найду аналогии в соответствующей языковой области, и слово-основа употребляется не так, как производное от него, то по отношению ко временному различию можно предположить архаизм, а к территории – местное наречие или идиому. Гораздо шире употребление вторичного родства.

При рассмотрении логического родства нам следует вернуться к противопоставлению всеобщих и особенных представлений. Слова, обозначающие понятия, которые образованы от того же самого высшего понятия и скоординированы друг с другом, родственны. Это предполагает форму образования представлений посредством противопоставления на фоне общего. Так возникает, если вернуться к основополагающему принципу противопоставления, объяснение от противного. Если выражение, которое я трактую только как всеобщее представление, покажется мне на своем месте слишком темным, т.е. не отсылает ко всем скоординированным, образованным вместе с ним из Одного высшего понятия представлениям, то я могу достичь понимания, если буду учитывать все представления, которые возникли путем деления и противопоставления, ибо тогда у меня будет само

разделенное. Совокупность всех частей составит само разделенное и полную формулу самого принципа деления. Но это часто приводит к затруднениям. Если отсутствует объяснение общего выражения, то это то же самое, что и герменевтическая задача для каждого отдельного случая. — Например, еще не пришли к единству о строгой границе между животным и растительным миром. Если у какого-нибудь автора встречается слово животное, находящееся как раз в пограничной зоне между животным и растительным миром, то такое выражение без определенного общего пояснения останется темным. Если этого пояснения нет, и его нужно искать, то я найду его только тогда, когда все, что исчерпывает данное выражение, предстанет передо мной в логическом комплексе. Из этого, однако, следует, что нельзя достичь всего, отталкиваясь от противопоставленного, пока, как в указанном случае, граница, принцип противопоставления, определен не полностью. Тогда спрашивается, нет ли иного родства, кроме противопоставления?

Безусловно, есть! Существуют виды родства, определяемые различиями, которые не являются противопоставлениями, по крайней мере, исключаящими друг друга. Если, например, нет противопоставления между животным и растением, и мы скажем, что обе формы жизни связаны непосредственным переходом, то выявим множество различий, которые хотя и ведут к определенным противопоставлениям, но чисто количественным. Так, есть такие области, в коих среди представлений преобладает качественное противопоставление и такие, в коих преобладают переходы (количественные различия). В области цвета, например, хотя и существуют определенные различия, но в них господствует переход; если у нас даже есть определенные выражения для обозначения того, что образует середину, то всегда найдутся

цвета, которые могут считаться пограничными для той или иной области. Чем непосредственнее переход, тем ближе родство. Этот вид родства меньше поддается изучению, нежели тот, который возникает посредством чистого противопоставления. Следует при этом принять во внимание, что подобно различным способам видения, существует и различие в представлении об одном и том же объекте. Там, где возникает такое различие, его следует учитывать, объясняя выражение на основании его родства. Это совпадает с нашим принципом, согласно которому все единичное следует понимать только из целого. Все представления, связанные противопоставлениями в единый комплекс, образуют целое; точно также и каждый комплекс переходов. Если при этом единичное разъясняется через связь с другим автором, то следует заранее убедиться в том, что этот другой и видит, и представляет себе все так же.

Если в соответствии с этим мы рассмотрим различные типы языковых элементов, то, взглянув на вещи в целом, увидим, что существительное образует регион, в котором преобладает противоречие, а глагол – регион с преобладанием переходов. Ибо имя существительное включает в себе все встречающиеся определенные формы бытия, независимо от того, природа или искусство являются их источником. Первые составляют, правда, куда большую часть этого региона. Глаголы, обозначая деятельности, уже в силу этого и нацелены на переходы, т.е. на различия, которые противопоставлениями не являются.

Здесь только в общих чертах сформулируем правило, что большая осторожность необходима при объяснении слова на основании простого различия, нежели – чистого противопоставления, ибо здесь мы имеем дело с объективно определенным, в связи с чем обозначение противопоставленного в языке намного устойчивее.

Но вышеназванное соотношение различных регионов существительного и глагола верно только в принципе, т.к. на практике и глаголы образованы от существительных, и существительные от глаголов. Если таковые суть основные направления в развитии способности представления, то, стало быть, толкование будет точнее там, где язык своей основной формой исчерпает представление; тогда сам язык послужит индикатором для того и другого; но в той мере, в какой языковое обозначение колеблется, колеблется и толкование. В еврейском, например, где исходят из общего предположения, что все слова-основы суть глаголы, а имена производны, истолкование благодаря этой простой языковой тенденции на этом этапе сильно облегчается. Но там, где сосуществуют обе словообразовательные тенденции, там определенная индикация в самом языке отсутствует, и необходимо множество средств объяснения, дабы действовать наверняка. Как только собраны все выражения, вместе образующие единое целое, но различающиеся посредством модификаций, всегда сводимых к какому-либо противопоставлению, тогда их можно привести в некоторый порядок и определить значение по отношению друг к другу, и если можно тогда утверждать, что в исследуемой области языка встречаются все выражения, и писатель всеми ими пользуется, то их местное значение можно выявить из него самого. Но если манера письма меняется, то сужается круг объяснительных моментов, данных в самом тексте, и нужно выйти за его пределы.

Что же касается идей, которые в данном комплексе являются лишь изобразительными средствами, то для начала нужно рассмотреть все, что обозначается словом *сравнение*. Оно подразумевает, что некоторое представление берется из другой области, чтобы высветлить то, которое принадлежит определенному комплексу.

Само оно данному комплексу чуждо и употреблено не ради себя самого, но только в отношении к сравниваемому. А его можно мыслить и в самом широком, и самом узком смысле. Каждая проведенная аллегория является таким изобразительным средством, хотя она, в свою очередь, есть целый комплекс представлений. К нему относится все то, что мы называем параллелью и притчей, а кроме того, все виды объяснения, следовательно, также и пример, поскольку он как единичное не есть самоцель, а употребляется только для объяснения всеобщего. Но у историков нечто всеобщее, некая максима может стать изобразительным средством, посредством которого указывается, с каких позиций следует рассматривать единичное, о котором ведется рассказ. Было бы несправедливо сопоставлять эти максимы для характеристики историка.

Самое узкое значение среди таких изобразительных средств у образного выражения, в котором содержание языкового элемента включает нечто чуждое непосредственной языковой значимости. Но зачастую сам говорящий совсем не желает, чтобы такое выражение мыслилось в его собственной языковой значимости. В языке подчас закрепляются подобные выражения, о собственной значимости которых уже никто не вспоминает.

Вот полный объем изобразительных средств: общий тип называется сравнением, а конечные точки образуют ярко выраженная аллегория и простое образное выражение.

Если такое выражение непосредственно не выясняется из контекста, а остается многозначным, то возникает герменевтическая задача, в которой нам следует различать множество случаев.

Прежде всего, что касается случая, когда образным выражениям не примысливается их собственное значение, то

из него прямо следует, что вышеозначенный канон не может применяться к определению второстепенных мыслей (именно на основании мест, в которых они выступают в качестве главных). Ибо, если не учитывать собственную языковую значимость, то образное выражение объяснить из него невозможно. Однако есть торжественные образные выражения. Определенные предметы имеют определенный набор образных выражений, посредством которых таковые определенным образом представлены.

Они хотя и соприкасаются с выражениями в прямом смысле, но так далеки от их самобытной языковой значимости, что с ее помощью не могут быть поняты в отношении к тому, что они призваны объяснить. Например, говоря о тоне картины, мы заимствуем выражение из музыки, а мотивы — из поэзии, но влияние может быть и обратным. Там, где возникает такое родство, основание для разъяснения кроется в идентичности, которым родство и вызвано. Но как раз здесь находится область, в которой герменевтическая операция наиболее затруднена. Живопись, музыка и поэзия родственны между собой как искусства. Когда в поэзии я веду речь о цвете, о тоне в живописи, то выражение для различных искусств остается тем же самым. Но язык рассудил иначе, для него тон — элемент музыкальный, а не живописный. Прежде чем перенестись на другую область, значение выражения должно было расшириться. Такие выражения часто используются, не выявляя при этом мысль с достаточной ясностью. Но там, где делаются подобные переносы, сравнение должно основываться на родстве, которое можно доказать, ведь иначе образные выражения были бы совершенно произвольны, и мы не смогли бы понять их. Чтобы, исходя из этого, охватить взглядом всю область, мы различаем два момента. Во-первых, между разными комплексами представлений обнаруживается столь близкое родство, что

один из них сам напрашивается быть изобразительным средством для другого. Во-вторых, есть сравнения, которые на первый взгляд выглядят произвольными, т.е. основаны на случайных отношениях, а не на существенном родстве. Этот последний вид никогда не может претендовать на всеобщую значимость, но и вовсе отбрасывать его не следует. Остерегаться стоит только чрезмерности! Если этот вид применяется экономно и облегчает чтение, то он производит эффект, и речь становится выразительной. Но зачастую случается так, что сравнение, которое основано на внутреннем родстве, мы принимаем за сравнение противоположного вида, поскольку внутреннее родство нам неизвестно. Так возникает герменевтическая путаница, которая происходит из-за ложной оценки. Тогда требуется психологический элемент. Нужно знать писателя, метод и манеру его письма, а также мыслетворчество, чтобы определить, охотно или неохотно он прибегает к произвольностям.

В последнем случае всегда предполагается внутреннее родство как основание для сравнения. В произвольных сравнениях, которые могут стать устойчивыми, следует все же предположить нечто общее, на чем основывается сопоставление; если нет внутреннего родства, то должна же наличествовать хотя бы параллель, которая между тем может оказаться и случайной. Главная задача состоит в том, чтобы отыскать исходный пункт для сравнения и самому его сконструировать. В зависимости от того, берется ли из комплекса представлений для пояснения далекое или близкое, задача либо усложняется, либо упрощается. Речь идет о том, чтобы знать собственное значение образного выражения настолько, чтобы вывести из него *punctum saliens* для сравнения. Обычных лексических средств для этого недостаточно. Словари могут указать образное употребление отдельных языковых элементов только для технических и таких

торжественных выражений, которые в известной мере перешли в языковой обиход. Нужно обратиться к вспомогательным средствам, которые разъясняют сам предмет вместе с целым контекстом: с их помощью знание о таком дополняется настолько, что исходный пункт для сравнения от нас ускользнуть уже не сможет. Вообще для понимания выражений, которые суть простые изобразительные средства, одного знания языка недостаточно; к нему следует присовокупить подробнейшее знание реалий. Мы различаем оба случая: чем больше сравнение, основанное на внутреннем родстве, приближается к торжественным выражениям, в языке укорененным, тем легче понимание. Но в противном случае, чем чаще произвольное сопоставление, тем труднее понимание. Но и произвольные сопоставления, если они претендуют на истину, должны основываться на объективной аналогии и сводиться к ней. Следует различать при этом, используется ли такое сравнение для построения контекста или же просто для украшения. Первый случай, несомненно, труднее, особенно, если аналогия скрыта, как, например, у Хаманна.

Торжественные сравнения основываются на параллелях, которые заложены в конструкциях мышления такими, какими они перешли в язык.

Одной из самых обычных параллелей, которая уже почти закрепились в обыденном языке, является параллель между пространством и временем. Редукция здесь естественна и легка. Гораздо значительнее то, что материальные изменения и соотношения объясняются посредством духовных и наоборот. Преобладает последнее. К этому легко пристраивается мнение, что в языке, собственно говоря, не было выражений духовного. С этим, пожалуй, нельзя согласиться так сразу, но на определенной ступени развития неизбежно,

чтобы духовное разъяснялось через сравнение с чувственным. Обратное встречается реже, но, например, Клопшток использовал это превосходно. Такие параллели основаны на незыблемом фундаментальном параллелизме между областью этики и областью физики. К нему, в конечном счете, сводятся все настоящие сравнения, пусть даже и в роли подчиненных. Это их общая основа. Но их определенность зависит каждый раз от мировоззрения эпохи, нации и того особого региона, к которому писатель принадлежит; в конце концов, от своеобразия чьих-либо индивидуальных взглядов. К ним нужно приобщиться, чтобы понять данное сравнение.

Вот все, что касается нашего герменевтического канона в отношении *материального* языкового элемента.

Теперь применим сказанное к Н.З., (...) ¹⁵.

...Что касается применения *формального элемента* ¹⁶, то следует опять обратиться к предложению как связи существительного и глагола. Простейшей формой является та, в которой существительное стоит в именительном падеже, а глагол к нему присоединяется. В зависимости от того, в какой личной и временной форме употреблен глагол, и его отношение к существительному и содержание предложения будет различным. Сие не есть обособленный языковой элемент, но составляет общее условие, при котором более точная определенность предложения единственно возможна.

Если предложение состоит из многих элементов, то с их помощью его члены связываются друг с другом, но при этом предложение не перестает оставаться простым.

Если к имени существительному прилагается нечто должное обозначить отношения к другим словам, то используют предлог, а если его нет, то структуру других имен существительных. Возможно и объединение обоих. Но пока у нас сохраняется органическая связь между существитель-

ным и глаголом, как бы ни были они определены, предложение остается простым¹⁷.

Связь предложений друг с другом бывает *присоединительной и органической*¹⁸. Если два предложения связываются органически, образуя целое, и уже при чтении одного мы осознаем, что оно составляет лишь часть целого, то возникает период, основной формой которого является связь между главным предложением, стоящим впереди и придаточным, следующим за ним¹⁹. Предложения с присоединительной связью находятся в отношении согласования. Если же одно предложение образует пространный период, а другое является простым, то все равно они составляют лишь согласованные части единого целого. Языки в этом смысле разнятся. Есть такие, которые либо неспособны к построению периода, либо такая способность в них минимальна, и, наоборот, такие, которые способны к этому в высочайшей степени и т.д. Однако то, что противоположность между органическим (периодическим) и присоединительным соединением относительна, выясняется из того, что, если, например, весьма связанный период с латинского переводится на другой язык, не обладающий подобной способностью, то ничего другого не остается, как надлежащим образом разложить органически связанное, на столь малые единства, сколь позволяет тот язык. Период утрачивает вследствие этого свое органическое единство, но в определенной степени удается достигнуть того, чтобы читатель усвоил то же самое соотношение частей, каким оно было задумано в органическом периоде. Если бы противоположность была абсолютной, подобное было бы немислимо. Иначе миром правили бы противоречащие друг другу законы. Но если при всем различии языков мы все же сознаем идентичность нашего миропорядка и законов мышления, то и простое присоединение в языке не исключает органического соединения как абсолютной противополож-

ности. Даже в одном и том же языке существует эта относительная противоположность. То, что один излагает в пространственных органических периодах, другой любит дробить, присоединяя части друг к другу.

Если признается возможным, что простая присоединительная форма производила то же действие, какое производит и форма органического соединения, то следует предположить, что отдельные связующие языковые элементы иногда приобретают и простую присоединительную значимость. Оба движения согласуются друг с другом в языке, так что одно не мыслится без другого. Вместе с тем существует значительное различие между более и менее мощными языками. Но поскольку эти противоположные начала заложены в природе языка, то оба и присутствуют во всех языках, также и в тех, которые обладают большой мощностью.

Разница в значимости между обоими способами связи преимущественно качественная. Простое присоединение не создает органического единства, но и органическая связь не создает ничего нового, она лишь делает нечто частью другого. Оба вида связи исключают друг друга, так что налицо качественное различие в их значимости. Но они могут и представлять друг друга. Если присоединительный элемент представляет органическую связь, то возникает эмфаза. Это и есть различие количественное. Оно осуществляется там, где элемент органической связи употреблен лишь как присоединительный, и, стало быть, отчасти лишился своей значимости.

Не путать простую присоединительную связь с органической, позволяет элементарное знание языка. Но может возникнуть неопределенность, если элемент, считающийся по природе органическим, использован в каком-то месте в качестве присоединительного. Чтобы снять эту неопределенность, просто избежать ее, следует строго следовать внут-

ренней связи мыслей и именно из нее черпать понимание, какое предложение²⁰ должно быть следующим.

Если взглянуть на языковые элементы, которые связывают элементы внутри отдельного предложения, то и здесь могут возникнуть неопределенности и расхождения в понимании.

В этом отношении языки весьма отличаются друг от друга. Одни богаты флексиями имен существительных, у других их вовсе нет, и они выражают отношения одного существительного к другому с помощью особых языковых элементов, наконец, у третьих такие флексии хоть и имеются, но их состав весьма беден.

Язык, в котором есть только флексия родительного падежа, уже многое может, ибо все более или менее непосредственные связи могут выражаться с ее помощью. Но во всех остальных случаях он вынужден прибегать к помощи других языковых элементов. Но и в языках, обладающих наибольшим богатством флексий, особые языковые элементы не все отсутствуют, а обозначают связи внутри одного предложения. Там, где сосуществуют обе формы, их нужно воспринимать в единстве, не отделяя предлог от его падежа. В некоторых языках эти формы составляют разные элементы (предлог) и обладают, в зависимости от того, какая флексия с ними связана, разными значениями. Недостаточно знать их. Пока не найдено их единство, само различие кажется произвольным, и процесс понимания не завершен. В этом смысле наши вспомогательные средства еще сильно отстают.

Так же обстоит дело и с языковыми элементами, с помощью которых предложения связываются друг с другом. В некоторых языках у глагола есть флексия, которая выражает отношения одного предложения к другому (конъюнктив) и примитивная форма, заранее указывающая на то, что пред-

ложение является независимым. Если язык богат этими формами (наклонениями), то может с таким же успехом обходиться без частиц. Если же язык беден и ими, то он вообще мало пригоден для передачи больших комбинаций предложений. Там, где особые связующие языковые элементы (союзы) взаимодействуют с наклонениями, нужно учитывать и то, и другое. И все же каждый элемент обладает своим собственным единством, – как предлог, так и падеж. Но именно здесь толкование часто сталкивается с трудностью, состоящей в том, что единство языковых элементов нельзя созерцать непосредственно. У формальных элементов это сложнее, чем у материальных. Расхождения в разных языках часто весьма затрудняют прямой перенос. Уверенность в том, что все правильно понято и связь установлена именно там, где ее задумал автор, часто приходит только потом, когда схвачен весь контекст.

Важнейшим вспомогательным средством и здесь является предварительный обзор. Он обеспечивает тем большую уверенность, чем органичнее связь между мыслями. А самая связь тем органичнее, чем логичнее или диалектичнее ход мысли. В описаниях и рассказах, наоборот, преобладает присоединение. Чем более доминирует свободная игра мыслей, тем больше недоумения вызывает связь, бывают случаи, когда абсолютная уверенность невозможна.

Присоединение может быть случайным, связывая совершенно случайные предложения, которые, впрочем, внутри себя самих могут снова располагать органическим сцеплением. Так, если некое положение объясняется с помощью примеров, и один пример следует за другим. В совокупном контексте присоединительная связь имеет подчиненное значение. Если внутри него появится органическая связь, то влияние сочинения на общий контекст будет минимально.

Зачастую очень сложно правильно определить объем и отношение между видами связи. Даже если допустить, что речь состоит из самых простых предложений, то их значение для всего контекста будет неодинаковым, одни могут быть главной, а другие второстепенной мыслью. Если в наличии имеется один формальный элемент связи, то спрашивается, является ли он присоединительным или органическим, связывает ли отдельные предложения или целые отрывки? Это следует различать. Смещение ведет к путанице и недопониманию. Здесь определение материального (в отношении к содержанию) и формального элемента в ходе общего обзора совпадают. Если из этого обзора мы узнаем о том, что перед нами второстепенные мысли, то мы также узнаем, что формальный элемент выражает связь между отдельными предложениями; но если при этом попадают главные мысли, согласованные друг с другом, то мы также знаем, что друг с другом связаны и отдельные отрывки.

В самих видах связи проявляются следующие внутренние расхождения. Связанные предложения бывают равными и неравными, т.е. соотносятся с общим предметом либо равномерно, либо нет. *И... и...* обозначает отношение равенства, *Не только, но и* – также и усиления. Зачастую автор, просто присоединяя, предоставляет читателю самому определить отношение более точно.

Как только прояснится желание автора, чтобы отношение было схвачено тем или иным способом, тогда отдельные языковые элементы получают эмфатическую значимость. Но для этого в речи должен содержаться особый намек. Или, наоборот, может быть использовано усиление, которого в действительности нет. – Но может статься, что писатель совершенно одинаково повествует о двух вещах по отношению к речевому контексту, имея при этом в виду

усиление, о котором, по его мнению, читатель легко догадается сам. Тогда это – субъективная связь, относящаяся лишь к мыследеятельности, в то время как объективная соотносится с реальными фактами. Но т.к. нет языковых элементов для специального обозначения этого различия, то возникают трудности и опасность смешения.

Языковому элементу, выражающему органическую связь, свойственна двойственность положительного и отрицательного контекста. Первый в самом общем представлен отношением причинности, а второй – отношением противопоставления. Оба, обладая противоположным значением, не могут и не должны смешиваться. Но каждый сам по себе бывает субъективным и объективным. Субъективным в том случае, если оратор, например, указывает в причинной форме, почему он высказал предыдущее и именно так, а не иначе. Для различения субъективного и объективного причинного отношения не существует разных языковых элементов. Иногда их можно сразу отличить друг от друга, а иногда легко спутать.

Органическая связь может быть настолько свободной, что, в конце концов, переходит в простое присоединение, так что значимость языковых элементов при их использовании снижается. Нельзя говорить, что языковые элементы имеют обе значимости. Это означало бы внесение такой путаницы в язык, при которой всякое правильное построение мыслей прекращается. Можно только сказать, что, поскольку оба вида связи не строго противопоставлены друг другу, между ними существуют переходы. Но именно, из-за различного понимания формального элемента, происходит намного больше трудностей, чем из-за различного понимания материального. По-настоящему и здесь поможет обзор целого контекста, в котором материальный и формальный элемент определяют друг друга.

Почти повсюду, хотя и в разных языках по-разному, встречаются *несвязанные предложения*²¹.

Несвязанные предложения либо вводят нечто новое, либо нет. В первом случае помогают абзацы, заголовки, которые материально обозначают содержание, а формально – композиционное членение. Во втором случае отсутствие связи может основываться на том, что предыдущее предложение относится к последующим как подготовка к ним и обзор, что выделяется с помощью таких форм как *следующим образом* и т.п. – Несвязанные элементы, которые не содержат ничего нового, могут *мыслиться* соединенными посредством присоединительной или органической связи. Это легко определить, если материальные элементы становятся индикаторами. Однако в той мере, в какой значение нельзя уяснить из материального элемента, в данном случае ведущего, толкование является сложным. Здесь грамматическое толкование переходит в психологическое. Существенным становится жанр и форма композиции. У каждого жанра свои собственные правила, и внутри одного жанра также есть индивидуальные отличия, в то время как один в большей степени следует объективной связи, другой предпочитает субъективную. Субъективные связи простираются так далеко, что писатель создает мыслительный ряд почти прямо на глазах у читателя. Но именно это один речевой жанр допускает в большей, а другой в меньшей степени, один требует этого, а другой отвергает. Но все жанры предоставляют автору свободу для проявления его самобытности. В равной мере от языка и словоупотребления писателя зависит, сколь часто и каким образом он использует только присоединительную или же пользуется органической либо субъективной, либо объективной связью. С этой стороны весь метод основывается на правильном понимании формальных языковых элементов, как они определяют совокупный контекст.

Если сказанное применить к Н.З.²², то из всего предыдущего следует, что все сводится к правильному пониманию единства данного целого.

(...)

Прежняя предпосылка, утверждающая, что, раз Писание исходит от Святого Духа, то новозаветных писателей нельзя заподозрить в несовершенстве, будучи сама ложной, привела и к ложным максимам, которые, к сожалению, встречаются до сих пор и весьма влиятельны. Эти ложные максимы наиболее отчетливо проявляются в двух пунктах, *во-первых*, качественно, в отношении прямого к переносному, образному, *во-вторых*, количественно, отношении эмфатического к незначительному, тавтологическому, избыточному. Если придерживаться нашего принципа, то к подобным максимам прийти невозможно; но вследствие их влиятельности они заслуживают более подробного исследования.

Первая максима, которая полностью объемлет все языковые элементы, *и материальные, и формальные*, провозглашает, что Н.З. совершенно не допускает переносное словоупотребление, пока остается хоть малая возможность прямого. Сами собой исключаются такие места, в которых все свидетельствует о наличии переносного смысла, так, например, все места, содержащие очевидные метафоры и притчи. Представим, однако, те случаи, в которых собственное и несобственное значение в равной степени возможно. И здесь якобы всегда следует предпочесть прямой смысл. Это основано на предпосылке, что новозаветные писатели каждый раз, когда было возможно употребление и прямого, и переносного смысла, избирали первый. Таким *kyriolexia* уже древние придавали большое значение. Но необходимость *kyriolexia* не везде одинакова. Она необходима, например, при заключении соглашения, где речь идет о возможно боль-

шей точности слова. Но по какому праву *kyriolexia* требуют от новозаветных писателей? Во-первых, исходят из того, что следует пользоваться переносным значением лишь тогда, когда прямого значения в языке либо вовсе нет, либо оно исчезло. А в богодухновенности Священного Писания содержится будто бы всеприсутствие языка, означающее постоянное присутствие у священных писателей правильного и прямого выражения, т.е. непогрешимость в этом смысле.

Во-вторых, говорят, что новозаветные писатели призваны де представить такое же точное изложение божественной Истины, как какой-нибудь контракт определить двусторонние обязательства, и в обоих случаях должно действовать одно и то же правило; отсюда и необходимость в выражениях, употребленных исключительно в прямом смысле, если мы не хотим, чтобы Писание соответствовало своей цели лишь частично. – С этим можно в определенном смысле согласиться и без упомянутой теории. Однако мы должны установить определенные границы; мы должны сказать, *насколько вообще и в тех местах*, где речь идет об изложении этих истин, это правило будет справедливо. Но как раз вследствие самобытности Н.З., оный практически не позволяет свести себя ни к чему иному. Если мы рассмотрим, к примеру, как в Посланиях Павла употребляются слова *dikaios*, *dikaiosyne*, *dikaiousthai*, то увидим, что они обозначают самобытные представления об отношении человека к Богу, каким оно возникло в христианстве; одновременно мы обнаружим, что они полемизируют с ветхозаветным употреблением. – Если в христианстве отношение человека к Богу понято особым образом, то как его выразить? Если следовать строго *kyriolexia*, то для новых представлений следовало изобрести новые слова. Это было невозможно. Их можно было представить лишь косвенно, т.е. взять уже существую-

щие выражения, но употребить их по-иному, потенцировать. Апостол модифицировал сопутствующие ассоциации, а также ближайшие определения данных выражений и вызвал, таким образом, перевоплощение их основной мысли. Для всякого еврейского читателя это означало использование выражений в переносном смысле, он сказал бы, что апостол употребляет *dikaiosyne* иначе, чем мы. Стало быть, как раз при изложении главных истин употребляется переносный смысл. Если вышеозначенная максима применяется как обычно, то правильный вариант толкования упускается, и делу наносится большой вред. Значение догматики в Н. и В.Заветах весьма различно. Многое из того, что в прежнем завете относилось к области политики и теократии, перейдя в Н.З., должно было основательно измениться. – Далее следует возразить против той максимы, что новозаветное Писание является не первоначальным учением, а зиждется на устном предании.

Здесь возникают две возможности. Либо письменный текст есть объяснение, дальнейшее развитие или оттачивание уже известных истин. В обоих случаях *kyriolexia* и не нуждается в таком явном господстве, как в первом, изначальном сообщении. Следовательно, эта максима не имеет по отношению к Н.З. ни ценности, ни оснований; а вопрос, употребляется ли нечто в прямом или переносном смысле, проясняется, как и в случае с любым другим писателем, только из контекста. Как следует из вышеизложенного, духовенность не отменяет этого единственно правильного положения.

Другая максима касается различения количественной значимости выражений. Существуют, как говорили уже древние языковеды и логики, выражения, допускающие большую или меньшую степень. Речь теперь идет не о глаголах

и прилагательных, содержащих градуальные различия, но о количественных расхождениях локальных значимостей, которые определяются контекстом. У языка наряду с логической значимостью слов имеется также и музыкальная, проявляющаяся в ритме и эвфонии. Если в некоем периоде нечто присоединяется чисто ритмически, то оно, бесспорно, не имеет логической значимости, равной той, что необходима для связи мыслей, и в логическом отношении приближается к избыточности. Точно также обстоит дело и с эвфонией по отношению к отдельным звукам. Всякий отдельный звук не есть какофония, но он может в совокупности с другими стать таковой. Если в каком-нибудь предложении мне встретится выражение, для которого я тут же смогу подобрать синоним, то возникает вопрос, почему писатель предпочел именно его? Если из контекста явствует, что необходимым было именно это выражение, то оно приобретает здесь наивысшую значимость, ибо включает в себя отличие от другого, синонимичного. В этом случае выражение выделяется, оно становится *эмфазой*. Но если писатель выбрал выражение, руководствуясь ритмическим или эвфоническим интересом, то такое обладает наименьшей значимостью, т.е. неопределенно-всеобщей, поскольку не включает в себя отличия от синонима, и в логическом отношении все равно, стоит ли здесь то или иное выражение; и это, стало быть, есть нечто противоположное эмфазе.

Это противопоставление является данностью и обусловлено двойственностью языка. Некоторые виды стиля требуют больше музыкальности, нежели другие. Но и самый строгий речевой жанр не вовсе лишен музыкальности. В Н.З. сформулировали максимум, согласно которой все в нем следует принимать за эмфазу. Почему? У новозаветных книг не было де никакой иной цели, кроме совершен-

ного изложения первоизданной Божественной Истины. Однако Н.З. явно содержит такие места, в которых немалую роль играет риторический, а в других – музыкальный элемент. Следовательно, та максима является ложной. Нельзя сказать, что эмфаза свойственна Новому Завету. Она встречается и вне его. В каждой композиции наблюдаются отличия, которые указывают и на одно и на другое, и на эмфазу и на избыточность. Исходной точкой здесь является идентичность мышления и речи. Но эта идентичность имеет здесь самые широкие возможности. Для выражения одной и той же мысли может потребоваться переработка большего или меньшего количества языкового материала. Естественно полагать, что там, где больше слов, должно быть и больше мыслей, ибо каждое слово является выражением. Однако бывают случаи, когда и скудными языковыми средствами нужно изложить все то, что, казалось бы, укладывается только в большее количество слов. Если при скудных языковых средствах контекст позволяет читателю домысливать отсутствующее, то эффект будет тот же, что и при наличии большего количества слов. Так, каждому случаю подобает свой подход, т.е. в одном случае применим канон эмфазы, в другом же он не работает. В отношении Н.З. древние толкователи следовали вышеозначенной максиме считать эмфазой все, что только возможно, а новейшие – все, что только возможно ею не считать. Очевидно, что обе максимы являются лишь выражением односторонности, исключаяющей одна другую, и оттого обе непригодны. Достаточно указать лишь на Послания Павла, избыливающие риторическими местами, особенно в конце разделов, в которых наблюдается определенная языковая избыточность, и некоторые слова являются почти тавтологией. Это и есть нечто, что противостоит эмфазе. Но и у Павла мы находим

охутога и некую, родственную им игру со значениями одного и того же оборота речи.

Такие места имеют и определенный ритмический характер, но он вторичен, вследствие чего возникает требование воспринимать выражения буквально. Если канон, составленный для одних мест, применяют по отношению ко вторым, или наоборот, то упускают авторский смысл. Если в противоположность к таким местам, где мысли последовательно не развиваются, – ибо и охутога представляют собой только передышки в потоке речи, – мы обратимся к таким, в которых мысль получает последовательное развитие, то и здесь обнаружим характер противопоставления. Дело в том, что в еврейском языке вместо периодичности и различия между прозой и поэзией мы находим определенный тип или параллелизм, внутри которого мысль как бы взвешивается, так что одна и та же мысль, незначительно видоизменяясь, выражается в виде некоего арсиса и тезиса²³. Диалектическое расхождение исчезает, предложения приобретают разный колорит, но никак не характер диалектической остроты. Там, где мы встречаем этот тип в Н.З., а именно в гномах и *гимнах*, там царит дух еврейского языка, и было бы неверно говорить о различиях здесь со всей определенностью. И наоборот, к предложениям, имеющим диалектическое развитие, применим не данный канон, но тот, что ему противоположен. Каждое правило в Н.З. имеет свою область применения, и их следует надлежащим образом отличать друг от друга.

Количественное различие в Н.З. особенно проявляется в *формальных* языковых элементах, а именно в употреблении частиц. Противительные частицы употребляются в предложениях с не- противопоставленным значением, те, что соединяют органически присоединительно и т.п. Так же и наоборот. Если в первом случае значимость частиц уменьша-

ется, то во втором случае возрастает. В Н.З. это отчасти вызвано недостаточным усвоением греческого и влиянием еврейского мышления. Задача состоит в том, чтобы надлежащим образом различать разные случаи. Одностороннее применение той или другой максимы привело бы к величайшей путанице. Специальная герменевтика Нового Завета при применении общих правил должна руководствоваться лишь той самобытностью, основу которой образует соотношение греческого и еврейского в Н.З.

От правильного рассмотрения означенных максим зависит правильное употребление вспомогательных средств для толкования Нового Завета. (...)

Неправильное применение зиждется отчасти на тенденции отыскивать в Н.З. религиозные представления в том виде, какой они приобрели позднее. В самой идее канона Свящ. Писания заложено, что в богословских спорах следует отталкиваться от Н.З. Но также вполне естественно, что из-за этого в богословских спорах по-разному употребляются новозаветные выражения, в зависимости от того, как продвигается спор и чем отличаются мнения спорящих. Повседневное словоупотребление произвольно действует на экзегета. Новозаветные представления всегда мыслятся во взаимосвязи с текущими богословскими спорами. Но из этого возникают вымученные толкования, с помощью которых пытаются оправдать *dicta probantia* в духе текущих богословских споров. В связи с этим, принимаясь за экзегезу, следует придерживаться правила рассматривать текущее богословское словоупотребление как несуществующее. От этого лучше всего предохраняет вышеупомянутый метод: все так или иначе необходимые выражения Н.З., образующих ядро канонического чина, сопоставлять во всех связях, в которых они встречаются в Н.З.

Следует учитывать и языкотворческую силу христианства в Н.З. Еврейский язык – как бы кладовая христианского словоупотребления. В образовании христианских понятий на основе еврейского словоупотребления новозаветные писатели могли наблюдать двойной подход; им оставалось либо остановиться на словоупотреблении, на имеющемся еврейском, связывая с ним новое, либо противопоставить новое прежнему еврейскому. Первый подход является историческим, в нем доминирует сцепление, второй – диалектическим, в нем преобладает противопоставление. Характерное скрыто здесь не в личности пишущего или говорящего. Каждый, в зависимости от обстоятельств, мог наблюдать то один, то другой подход. Разницу в них мы узнаем по той форме, в которой данное выражение встречается. Толкователь должен следить за этим.

Так, еврейское выражение *dikaiosyne* в Нагорной проповеди употребляется в первом варианте, соединительно, а в Посланиях Павла диалектически, полемически. Для иудейского благочестия жертва имела большое значение. Однако по христианскому воззрению все жертвы упразднились через Христа. Это воззрение можно было представить либо присоединительно, расширяя понятие жертвы, либо, вовсе его отрицая, утверждением, что между Богом и людьми установилось ныне такое отношение, на которое жертва больше не влияет. В Н.З. первый подход преобладает, а второй является лишь результатом первого. – Если основные понятия, о которых здесь идет речь, сопоставить друг с другом во всех отношениях, то нужно научиться различать, как в Н.З. каждое представление соотносится то с одним, то с другим подходом. В итоге все сливается в синтез разнообразных вариантов. Одна из главных трудностей при толковании Н.З. и здесь связана с тем, что историческая критика еще не завершена и содержит так много спорного.

Для дидактических текстов это не столь важно.

(...)

Что касается соотношения исторических элементов [у исторических писателей], то здесь мы явно имеем лишь единичные фрагменты, а не непрерывное целое, ибо в противном случае вся жизнь Христа сильно ужалась. Следует поэтому различать, есть ли строгая взаимосвязь между частями или ее нет, и проверить, отмечена ли бессвязность или она осталась незамеченной. По отношению к Евангелию от Иоанна известно, где в тексте лакуны, а где взаимосвязь не нарушена, где последовательность начинается и где заканчивается. Относительно первых трех Евангелий этого сказать нельзя. Там нужно, скорей всего, обратить внимание на устройство связующих формул. Но является ли их значимость одинаковой или различной, можно определить только с помощью сравнения. При этом следует отталкиваться от тех мест, где повествование отличается определенностью, и по ним судить о спорных местах. Так герменевтика приходит на помощь исторической критике. Ее надлежало бы вначале завершить, и тогда весь процесс был бы чисто герменевтическим.

И он бы стал таким, если бы хватило внешних свидетельств о возникновении и первоначальном устройстве Писаний. Но поскольку их нет, герменевтический и критический методы должно объединить для их обоюдного завершения. Но именно здесь становится явным, что грамматический и психологический элементы толкования нераздельны.

Правда, выше утверждалось, что каждую сторону в отдельности нужно изучить и завершить таким образом, чтобы другая сторона оказалась излишней. В этом действительно заключается истинная цель, идеал. Проверкой, полностью ли решена задача, будет совпадение результатов пер-

вого и второго метода. Но в действительности часто бывают большие различия. Нам может казаться, что мы понимаем язык произведения настолько, что он может служить мериллом психологической самобытности писателя. Но это предполагало бы, что все трудности, связанные с этой стороной, либо разрешены, либо их вовсе нет. Точно также, если я хорошо знаком с психологической самобытностью писателя, то смогу легко понять и языковую сторону, хотя это труднее, ибо всегда предполагает знание языка. Однако при более пристальном рассмотрении, и языковая сторона в свою очередь предполагает психологическую. Невозможно не связывать обе стороны, в противном случае пришлось бы поступиться взаимосвязью между языком и мышлением и бросить чтение. Языковая задача, если рассматривать отдельные элементы чисто лексически или грамматически, позволяет изолировать себя вплоть до определенного предела. Но как только речь заходит о понимании целого, о целостном прочтении, изоляция языковой стороны становится невозможной. Производить грамматическое толкование отдельно – чистая фикция.

В отношении Послания к римлянам считается общепризнанным, что психологическое толкование еще не доделало свою работу. Есть еще много мест, связь между которыми спорна. Определив путем сопоставления главных элементов Послания везде²⁴, где они появляются, общую значимость каждого выражения и его отличительные признаки, можно решить, поставлены ли, например, некоторые трудные вопросы самим апостолом, или же они заимствованы им со стороны.

В первом случае локальное значение встречающихся там выражений должно совпасть со всеми другими местами, во втором – от них отличаться, как если бы вопросы были

вброшены оппонентами. В таком исследовании грамматическая и психологическая сторона дополняют друг друга.

Между простыми и сложными мыслительными связями мы проводим относительное противопоставление. Субъективная трудность может зайти так далеко, что кто-нибудь скажет – такая комбинация просто немыслима! И не успокоится до тех пор, пока не доказана невозможность иной. Но как только грамматическое толкование завершено, и мы в нем уверены, то вынуждены признать, что такая комбинация все же существует. Так грамматическое толкование определяет психологическое. Но может возникнуть и грамматическая загадка, так что кто-то станет говорить, не поверю, что слово может иметь данную значимость, пока не установит невозможность иной. Тут дело решает психологическая конструкция, которая побуждает нас, после того как мы ее завершили и уверены в ней, признать взятую под сомнение локальную значимость.

Примечания

1. При случае Шлейермахер здесь замечает: Рассмотрев привычный процесс этого новообразования, нам останется выразить сожаление в отношении толкователей нашей литературы, ибо произвол в этом деле столь велик, что ни логические, ни музыкальные законы не принимаются во внимание. Так возникают языковые извращения, которые вносят путаницу в язык и делают толкование сомнительным. Мы ничего не можем тут поделать, кроме как не принимать и не распространять скверных неологизмов.

2. К теории языковой значимости ср. 92 и след. (М.Ф.)

3. То, что в этом месте еще говорится об условиях специальной герменевтики, здесь опущено, ибо все относящееся сюда более полно и ясно разобрано уже во вступлении с.24 и след.

4. Из лекции 1826 г.
5. Из лекции 1826 г.
6. Из лекции 1826 г.
7. Из лекции 1826 г.
8. Это следует понимать из: Ernesti Instit. interpret. Ed. Ammon p.114,115. *Vulgare est praeceptum, quod jubet non facile* (или *non sine evidente causa aut necessitate*) *discedere a proprietate significationis*. Есть общее правило, которое предписывает просто так не уклоняться от особенностей смысла (без очевидной причины или необходимости).
9. Из лекции 1826 г.
10. В соответствие с лекцией 1826 г. Шлейермахер полагает, что если мы именуем ясным нечто имеющее определенный смысл, то в каждом данном трудном контексте для постепенного генезиса понимания изначально будет ясным только Одно.
11. Из лекции 1826 г.
12. Из лекции 1826 г.
13. Из лекции 1826 г.
14. Из лекции 1826 г.
15. Все предыдущее, начиная со с.91, является разъяснением положений с §10. С.77 и след.
16. Начиная отсюда ср.§4 и след., с.71 и след.
17. Ср.§8, с.76 и след.
18. Ср.§4, с.71 и след.
19. Главное и придаточное предложение. [М.Фр.]
20. Ср.§6, с.74
21. Ср.§7.
22. Ср.§5

23. *Арсис* (греч. = ударение; буквально: поднятие ноги при отбивании такта или в танцевальном ритме), слабый ритмический элемент, периодическое исключение или же оттяжка такта в противоположность *тезису*, (в буквальном понимании) постановке стопы для акцентуации положительной доли такта [М.Фр.]

24. В тексте: всем [М.Фр.]

ВТОРАЯ ЧАСТЬ¹ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ² ТОЛКОВАНИЕ

1. Началом, объединяющим этот вид толкования с грамматическим, является общий обзор, который устанавливает единство произведения и главные черты его композиции. Но единство произведения, его тема, рассматривается здесь как принцип, который движет пишущим, а главные черты композиции как самобытность его природы, раскрывающаяся в этом движении.

Единство произведения при грамматическом толковании есть устройство языковой области, и основные черты композиции проявляются там в организации способов соединения. А здесь единством является предмет, то, что побуждает автора к сообщению. Объективные отличия, является ли, например, обработка популярной или научной, тем самым уже подразумеваются. Однако автор выстраивает предмет самобытным способом, что отражается на его построении. Подобно тому, как у каждого есть побочные представления, каковые также несут на себе печать его самобытности, так и самая самобытность распознается через исключение родственных и включение чужеродных представлений.

Познавая автора таким образом, я узнаю, как он работает с языком: ведь он создает отчасти нечто новое в нем, ибо любая, доселе небывалая связь некоего субъекта с неким предикатом являет нечто новое, отчасти же сохраняет то, что повторяет и распространяет. Точно также, зная языковую область, я познаю язык в той мере, в какой автор является

его продуктом и находится в его власти. И то и другое, следовательно, суть одно и то же, но только с разных сторон.

2. Конечной целью психологического (технического) толкования является не что иное, как развернутое начало, состоящее как раз в том, чтобы созерцать целое деяние в его частях, а в каждой части, в свою очередь, – материал как движущее начало и форму как природу, приведенную в движение материалом.

Ибо если я проник во все единичное, то больше и нет ничего, что надо было бы понимать. Само собой разумеется, что относительная противоположность между пониманием единичного и пониманием целого опосредуется тем, что каждая часть допускает тот же способ рассмотрения, что и целое. Но цель достигается только в непрерывности. Даже если нечто следует понимать чисто грамматически, то это не означает понимания с необходимостью, которая осознается лишь тогда, когда не теряют из поля зрения генезис.

3. Главной целью следует считать совершенное понимание стиля.

Мы привыкли понимать под стилем лишь соответствующее обращение с языком. Однако мысль и язык повсюду переходят друг в друга, и самобытный способ восприятия предмета переходит в способ упорядочения и тем самым в способ обращения с языком.

Поскольку человек постоянно пребывает в многообразии представлений, то всякий образ возникает в результате включения и исключения. Но если этот образ или какой-то другой берет свое начало не в индивидуальной самобытности, но заучен или затвержен, обусловлен привычкой или же нацелен на эффект, то становится манерой, а манерность есть признак плохого стиля.

4. Эту цель можно достигнуть, лишь приближаясь к ней.

Несмотря на все успехи, мы все еще далеки от нее. Спор о Гомере иначе был бы невозможен. О трех трагиках. Несовершенство их различия.

Индивидуальное созерцание не только абсолютно неисчерпаемо, но и способно постоянно уточняться. Это видно и из того, что лучшей проверкой, бесспорно, является раздражение. Но поскольку оно редко удается, и высшая критика до сих пор еще не избавилась от путаницы, то и мы, стало быть, еще далеки от цели.

5. Начиная психологическое (техническое) толкование, нужно установить ту форму, в которой автору были даны предмет, язык и постараться собрать все сведения о его самобытной манере.

К первому следует отнести то состояние, в котором находился определенный, присущий произведению жанр до того, как произведение возникло; ко второму то, что было в ходу в этой определенной и ближайшей приграничной области. Итак, нет отчетливого понимания этого вида без знания современной, родственной ему литературы и того, что служило автору первоначальным образчиком стиля. Подобные системные штудии, относящиеся к этой стороне толкования, не заменить ничем.

Третье, хотя и является весьма трудоемким, но т.к. легко дается только из третьих рук, и, стало быть, с примесью суждения, которое можно оценить только путем подобного же толкования, то нужно уметь обходиться без него. Жизнеописания авторов именно по этой причине искони прилагались к их произведениям, однако этой связью обычно пренебрегают. К самому необходимому из того, что есть в двух других пунктах, следует привлечь внимание соответствующими пролегоменами.

Из этих предзнаний при первом обзоре произведения возникает предварительное представление о том, где самобытности следует искать прежде всего.

6. По отношению ко всему предприятию мы с самого начала выделяем два метода, интуитивный и сравнительный, которые, отсылая друг к другу, не могут быть друг от друга отделены.

Метод *интуитивный* состоит в том, чтобы, словно³ перевоплощаясь в другого, пытаться непосредственно схватить индивидуальное. *Сравнительный* полагает сначала то, что следует понять в качестве всеобщего, а затем находит самобытное путем сравнения с другим, входящим в состав того же всеобщего. Первый метод есть женская сила в познании человека, а второй – мужская.

Оба сопряжены друг с другом, ибо первый зиждется, прежде всего, на том, что каждый человек, будучи самобытен, восприимчив и к другим.

Но само это качество основывается, по-видимому, лишь на том, что в каждом есть немножечко от каждого, и интуиция, таким образом, возбуждается сравнением с самим собой.

Но как сравнительному методу удастся подвести предмет под некое всеобщее? Очевидно, либо посредством все того же сравнения, и так – до бесконечности, либо посредством интуиции. Ни то, ни другое нельзя применять раздельно. Ибо интуиция обретает надежность лишь на основе удостоверяющего ее сравнения, поскольку без него она может оказаться фантазией⁴; сравнительный же не обеспечивает единства. Всеобщее и особенное должны пронизывать друг друга, а это происходит только с помощью интуиции.

7. Идею произведения, которая должна проявить себя, прежде всего, как воля, лежащая в основании исполнения

замысла, можно понять только на основе взаимодействия обоих моментов, материала и сферы влияния.

Сам по себе материал не обуславливает способа исполнения замысла. Как правило, его не составляет труда отыскать, даже если он напрямую не указан, но зато, будучи указанным, может привести и к неверной точке зрения. – Но то, что напротив того, можно назвать целью произведения в более узком смысле, находится на другой стороне, является зачастую чем-то совершенно внешним и оказывает ограниченное влияние только на отдельные места текста, но объясняется характером тех лиц, ради которых данное произведение написано. Если известно, для кого предмет готовится, и что эта подготовка должна извлечь из него: то этим одновременно обуславливается и исполнение, и тогда известно все, что может потребоваться.

[Отдельное изложение «технического толкования». Конспект лекции Шлейермахера, предположительно, из зимнего семестра 1826/7 г.](6)

Вторая часть

О техническом толковании

[ГК 113] (Пометка на полях: 1)

Введение. Параллель к грамматическому толкованию.

Граммат[ически]. Понимать речь и составное из языка.

Технически. Понимание как изложение мысли. Составное через человека. Следовательно, также исходя из человека.

Граммат[ически]. Человек и его деятельность исчезают и выступают только как орган языка. Техн[ически]. Язык и его определяющая способность исчезают и выступают только в качестве органа человека, служа его индивидуальности, точно так, как там личность служит языку.

Граммат[ически]. Неосуществима без техники. Техника невозможна без грамматики. Ибо откуда мне и знать о человеке, как не из его речи, особенно в отношении к этой речи?

Граммат[ически]. И все же идеальное разрешение задачи в ее односторонности [:] Понимание при полной отрешенности от

технического. То же и для техники. Идеал: Понимание при полной отрешенности от граммат[ического].

(Разъяснение.) А именно: 1) Зная писателя, мы уже ожидаем определенной манеры, даже независимо от языка, он мог бы писать и на другом. 2) связи и содержание, собственно говоря, объект граммат[ического][толкования], понимается исключительно на основе комбинационного закона человека.

Граммат[ически]. Понимание достигается только из взаимосвязи всего окружающего. Техн[ически] Воссоздание комбинации завершается только одновременно с проникновением внутрь деталей, т.е. прямо на месте.

Граммат[ически] делится на два противоположных задания; равно как и технически. Должно отыскать единство человека и распознать проявления этого единства.

Граммат[ически]. Первое как единство является всеобщим созерцанием, другое как множественность – частичным ограничением. И точно также технически. Единством является общее созерцание творческой полноты одного человека, множественностью – ограниченная применимость таковой к определенным случаям.

Граммат[ически]. Одно предполагает другое. Точно также и технически. Ибо откуда взяться общему созерцанию, как не из сопоставления противопоставленных частичных. Их, следовательно, нужно понять, а откуда взять понимание их содержания, как не из общего единства.

Граммат[ически]. Объектом выступает язык не как общее понятие и не как скопление использованных деталей, а как индивидуальная природа. Техн[ически] Объект как способность к комбинированию и высказыванию не в качестве всеобщего понятия, логические законы, не как эмпирическое множество, а как индивидуальная природа.

[? Разъяснение. 1.] От языка как всеобщ[его] [понятия], ничего не остается, кроме необходимых форм для субъ[екта], пред[иката] и синтаксиса. Оные суть не положительные средства разъяснения, а отрицательные, ибо то, что им противоречит, совершенно невозможно понять.

Точно также и способность к мышлению как всеобщее понятие: логические законы; то, что им противоречит, нельзя считать способностью к мышлению, однако из него самого эту способность понять невозможно. 2. Языковые наблюдения как набор эмпирических фактов являются не средствами объяснения, а продуктами, которые с помощью новых объяснений всегда можно дополнить. Точно также и техн[ически]. Наблюдения над способностью к комбинированию или психологическими законами. Они в лучшем случае намеки, указывающие на то, что им противоречит как на нечто особенное и собственное.

Граммат[ически]. Индивидуальная природа языка состоит в изображении определенного преобразования способности созерцания. Техн[ически]. Характер как индивидуальная природа точно также есть определенное преобразование способности мышления. Органичная сущности природы. Каждое растение – гармонически проведенное особое преобразование представленного процесса.

(Пометка на полях: 2)

Граммат[ически]. Индивидуальность языка нации связана с индивидуальностью всех ее прочих совместных деяний. Но с этой системой и ее совместным центром мы дела не имеем. Так и техническая. Индивидуальность комбинации изложения зависит от всякого проявления индивидуальности, и чем лучше знаешь кого-то, тем больше находишь аналогий. Но мы имеем дела не с этой системой и ее центром, а лишь с самобытностью изложения = стиль. [7 [Разъяснение] того, что также требуется во всех искусствах [и в] стиле.

Граммат[ически]. Элементы одного языка, как выражение определенным образом преобразованной способности к созерцанию, нельзя сконструировать а priori [ГК115], а только освоить посредством сравнения большого количества отдельных случаев. Точно также и технически нельзя сконструировать а priori различные индивидуальности.

Граммат[ически] нельзя передать индивидуальность с помощью одного понятия, они требуют созерцания. Технически точно также. Ни один стиль нельзя выразить понятийно.

Граммат[ически] полным пониманием языка было бы лишь понимание его средоточия. Точно также технически стиль может быть понят лишь на основе абсолютного знания характера. Такое знание в обоих случаях недоступно, и к нему можно лишь приближаться.

Граммат[ически] взаимное предположение противопоставленных операций саму возможность не отменяло, а только определяло ее точнее, также и технически. Есть более легкие единичные высказывания (более легкие, т.е. не нуждающиеся в предварительном техническом толковании, а понимаемые чисто грамматически), они обеспечивают первое общее созерцание самобытности.

Она делает понятными более трудные выражения, которые, в свою очередь, совершенствуют созерцание и так до бесконечности.

На это можно возразить, что понимаемое грамматически не приведет к должному созерцанию самобытности. Однако оно понимается только грамматически, без осознания необходимости; так что грамматически оно могло с полным правом иметь и совершенно иной вид. Стало быть, подобные места все же определяются самобытностью, которая до известного предела лучше познается в результате упражнения⁸. Когда говорят: само грамматическое толкование нуждается в техническом, то это справедливо только по отношению к первому предварительному восприятию контекста в духе, которое предшествует всякому пониманию единичного и особенного как таковому. Это делает операцию возможной и возвышает ее до искусства.

Признавая самобытность, можно было бы возразить, что ее место не в единичном. 1.) Не у всякого писателя она есть – это правда. Тогда целые классы составляют одну индивидуальность, и индивидуумы соотносятся друг с другом только как органы или единичные проявления. 2.) Она присуща в основном объекту, более самой художественной форме, нежели писателю, исторический стиль отличается от философского. Примеч. Задача, которая сама по себе в большей степени[,] требует познавать все художественные формы, исходя из стиля писателя, и при

более близком знакомстве можно себе это и позволить. Даже можно вполне четко представлять, как бы, например, писал Платон, если бы стал писать историю. Самобытность стиля, следовательно, сохраняется и при различии форм.

(Пометка на пол.: 3)

Это проясняется следующим. Если кто-то проводит некие особенности [116] через различные формы, противоречия характеру последних:, то мы не считаем это истинной самобытностью стиля, но порицаем, называя манерностью. Индивидуальность стиля должна поддаваться видоизменению с помощью форм, но все-таки оставаться самой собою. Далее, если кто-нибудь переносит нечто, принадлежащее самобытности чужого произведения в свое собственное, то мы воспринимаем это как чужеродное из-за явного жеманства, что было бы невозможно, если бы самобытность касалась бы только формы. В этом источник цветистости[,] *flos orationis*.

Наверно, возможно доказать, что имели в виду древние, когда говорили, что индивидуальная самобытность должна соответствовать определенным формам, ибо ни один из них никогда не отваживался выйти за пределы одной формы. Этому утверждению противостоит не только новое время, когда требуют обратного и предполагают лишь посредственный талант в том, кто выражает себя лишь в Одной форме, но здесь следует отыскать и основание противоположности.

Дело в том, что у древних повсюду на передний план выступало национальное; поэтому они и дорожили формами, в которых это национальное воплощалось определенными отношениями, а также совершенством механического начала в них, что требует исключительного упражнения. У нас же, наоборот, выступает и высветляется индивидуальность. Поэтому-то ее и хотят выманить посредством самых разнообразных явлений, а механическое совершенство слабнет.

Следовательно, индивидуальное единство остается главным, а прочее обнаруживается по ходу дела.

О поиске единства стиля

Закон. У каждого писателя есть свой собственный стиль. Исключения – те, у которых нет вообще индивидуальности. Они-то в своей массе образуют одну общую.

Определение. Но поскольку это единство может восприниматься не как понятие, а только как созерцание: то сначала определению поддаются в общем лишь пограничные точки. Таковые суть: самобытность композиции, общего членения – как первое и самобытность употребления языка для отыскания индивидуальности – как последнее. *Разъяснение.* 1. То, что первое должно быть первым следует уже из природы герменевтической операции; которая начинается с обзора целого. Но первым обычно пренебрегают и начинают с последнего. Суждения об индивидуальном словоупотреблении совершенно ненадежны, если они не вытекают из аналогии с композицией и обычно слишком углубляются в детали. 2. Обе эти конечные точки одновременно объемлют целое. В стиле нет ничего кроме композиции и использования языка. 3. Оба эти элемента нельзя рассматривать также как абсолютные противоположности. Ибо идеи, которые собственно являются элементами композиции, суть также части изобразительных средств, настоящий язык. И наоборот, язык часто становится существенным элементом композиции.

(Пометка на пол.: 4)

Метод. Двойственный. Посредством сравнения с другими и посредством рассмотрения в себе и для себя. Первый метод считают лучшим, но он не нужен в физиогномии и тому подобном. Он снова дробит целое, чтобы отыскать соответствующие части в ином и он, стало быть, ничтожен. (ПП.: Nb. Начинать следует с метода, рассматривающего в себе и для себя.) Его можно использовать только как вспомогательное средство для внимания, чтобы найти то, в чем лучше всего проявляется самобытность. Но и для этого гораздо лучше сравнивать не с другим единичным, а с целым, из которого самобытность в силу своего принципа как раз и выделила то-то и то-то, так-то и так -то.

(ПП.: Определенную роль играет и учет отказа) Итак, для языкотворчества – сравнение со всей языковой областью, для композиции – с целостностью объекта.

1. Обнаружение самобытности в композиции

В целом ход дела таков: Сначала схватываем единство целого, а затем смотрим, как в общих чертах соотносятся с ним отдельные куски. Первое показывает идею автора как основу, второе, как он овладевает ею и изображает ее. Идея автора свидетельствует только о его добронравии, но не о его индивидуальности, другое дело тот способ, каким он ее изображает. Ибо оный зависит от особой организации его способности к созерцанию. Когда сформировано первое общее впечатление, с его помощью переходят к деталям. Степень гармонии одного с другим определяет совершенство автора в его добронравии. Способ исполнения подтверждает или исправляет первое созерцание индивидуальности и так далее к большей точности.

Первая задача. Найти внутреннее единство или тему произведения.

Прим. 1. Это называют обычно целью, и напрасно. Цель тем более отдалается от идеи, чем больше произвола в произведении. В сравнении с идеей она кажется вторичной, и все же, если исходить из цели, то идея будет, видимо, относиться к ней только как средство. 2. Кратчайшим путем достижения этой цели обычно считают указание самого автора в начале и конце. Неверно. Во многих текстах подлинным предметом⁹ выступает нечто [ГК 118], настоящей теме бесконечно подчиненное. К тому же цель изображается намного чаще, нежели идея. Примеры первого случая, особенно в новейшей литературе. Второго – также и в древней. Эпические сообщения содержат только цель, но не идею.

Решение. 1. Сравнить противоположные точки – начало и конец¹⁰. Прим. Первый обзор начинать так элементарно, как только возможно. Прогрессирующее отношение = характеру исторической и риторической композиции. Отношение тождества = характеру интуитивной композиции. Циклическое отношение =

характеру диалектической композиции. (ПП.: 5) Меры предосторожности 1.) Следует различать, что в обеих точках относится к цели, а что – к идее. 2) Следует различать также действительное начало и действительный конец а) Начало целого есть одновременно начало его первого, конец целого одновременно конец его последнего члена. Искл. Конец Евангелия от Иоанна совпадает только с его последним отрывком, и лишь идентичность с началом показывает, что он относится ко всему целому.

б) Следует различать и границы целого. Настоящие¹¹ нелепости потому попали в поэтику, что Илиаду рассматривали как первоначальное целое, а также Пятикнижие и книгу Иисуса. Подобно тому и книга, хотя обычно и единая, может состоять из многих целых, которые должно обособлять друг от друга.

2. Если начало и конец вовсе или недостаточно способствуют единству, то сравнивают выделенные места. Места, выделенные одинаково, должны одинаково относиться к идее, поскольку следуют из нее. [¹⁰ Прим. И опять мы видим, что грамматическое толкование предполагается. Ибо оно учит различать выделенные места; также и другая задача технического толкования, а именно, – определять индивидуальное словоупотребление. Ибо у каждого свои особенности в расстановке акцентов]¹⁰.

Королл. 1. Существуют и такие композиции, в которых не выделено ничего. Но тогда это отрицательный признак, ибо, полагая нечто исходным, мы находим, что оно должно быть выделено так или иначе. Такая невыделенность встречается а) во всем, что приближается к эпической структуре, где, как при непосредственном чувственном созерцании, ничто не должно выделяться; в) в случае проявления некоей благородной простоты, особенно в изображении практической жизни; с) в случае сухой шутки и иронии. 2) Время от времени могут встречаться намеренно ложно выделенные места как, например, в пародии. Предлагают немецкие словари. Они меньше всего способны это обнаружить. Хотя самобытный акцент прекрасно может помочь договориться о материальных проблемах.

3. Далее погружаются в детали и подразделения отдельных [ГК 119] кусков, чтобы проследить расстановку акцентов, пока

не достигнут чего-то как бы неподвижного, составляющего простое окружение. – Чем точнее ослабление акцента соответствует отдалению от исходной идеи, тем большее подтверждение получает сама посылка. Наоборот, чем больше отклонений и акцентов, не согласующихся между собой, тем больше сомнений вызывает посылка. *Королл*. Но, несмотря на это, иная посылка невозможна. Это означает несовершенство писателя, который не всегда одинаково ясно осознавал свою идею, но позволял увлечь себя другими предметами, на которые впоследствии приходится постоянно отвлекаться.

Вторая задача. Найти самобытность композиции. *Разъяснение.* Сначала она истинно субъективна. Писатель может выразить свою самобытность многими и совершенно многообразными идеями. По отношению к одной и той же идее два различных писателя проявят совершенно разную самобытность.

Решение.] 1. Есть два пути – непосредственного созерцания и сравнения с иным. Ни один из них не обособляется от другого.

Непосредственное созерцание нельзя передать; сравнение никогда не приведет к истинной индивидуальности. Следует объединить их через отношение к целостности возможного. 2. Должно искать эту целостность возможного, которая осуществляется только через разумное сравнение единичного. 3. Далее стоит посмотреть, как из этой целостности выделяется главный массив истолковываемого. Закон сопричастности, созерцаемый в общем и частном, составляет самобытность.

Разъяснение. 1. Первоначально искомым является целостность того, что у данного писателя имелось в распоряжении. Следовательно, надлежит держаться границ натур и эпохи. (Где автор создал это творчески, выяснится само собой.) Национальная и секулярная индивидуальность составляют основу личной. Напр. По отношению к древним драматургам нельзя говорить, что в их распоряжении была наша характерная композиция или сентиментальность лириков. [¹² Прим. Писателя, стало быть, надлежит понимать только на фоне его эпохи.]¹² 2 Целостность можно найти а) благодаря сравнению с одновременным и однородным, в) с помощью аналогии из разнородного и разновре-

менного согласно общим законам комбинирования. Напр. Если бы у нас был только Один иудейский историк, мы все же могли бы обнаружить целостность из лириков. 3. Уже заранее процесс¹³ в разной степени поворачивается в противоположные стороны, то для сравнения с единичным, то ради непосредственного созерцания. Чем то и другое обуславливается?

Результат. Нельзя передать самобытность как единство; в нем всегда остается нечто, что не поддается описанию, что можно обозначить только как гармонию. Но главные соображения следующие. 1. Самобытный способ, коим писатель разрабатывает свою идею, материальный настрой писателя выясняются через подбор и упорядочение в крупном. 2. Склонность к композиционной строгости или изяществу, формальный настрой писателя выясняются через отношение заполняющего к главному, через многообразные отношения деталей. Прим. Многие принимают это за характерную индивидуальность эпохи. Это справедливо лишь в той мере, в какой скудость бывает причиной строгости, а роскошь и изнеженность – причиной изящества. Примеры одновременных значительных расхождений. 3. Отклонение от собственного объективного хода мысли, вызванное представлениями о душевном состоянии, ходе мыслей читателей, или же популярностью композиции. [¹⁴ Многие принимают ее за характер жанра; но в качестве элемента она свойственна всем жанрам. Также следует, пожалуй, учитывать, дает ли повод мыслить себе определенную публику или нет. Группировка по произведениям и текстам на случай является самой важной мыслью этого пункта.

Совершенно то же самое можно обнаружить и в детали. Но это не подчиненные виды. Платон и Лессинг были вполне писателями на случай [¹⁴ в немецкой литературе было время, когда считалось дерзостью претендовать на что-то большее]¹⁴, ныне же всякий проходимец желает написать капитальный труд. Склонность к тому или другому заложена, стало быть, в характере.

Применение к Новому Завету

Задача¹⁵ психологического толкования, будучи рассмотрена в общих чертах и отдельно, состоит в том, чтобы воспринимать всякий данный мыслительный комплекс как момент жизни определенного человека. Какими средствами мы располагаем для решения этой задачи?

Нам следует вернуться к соотношению говорящего и слушающего. Если образ мыслей и связь между ними у обоих являются одинаковыми, то при общности языка понимание приходит само собой. Но если образ мыслей в них существенно различается, то оно не происходит само по себе даже при общности языка. Если оба случая принять за абсолютные, то задача исчезает, ибо в первом случае ее и вовсе нет, т.к. она полностью совпадает со своим решением, а во втором случае она кажется неразрешимой. Однако в такой острой и абсолютной форме противоречия нет. Ибо в каждом отдельном случае между говорящим и слушающим всегда имеется известная разница в образе мыслей, но она не является неразрешимой. Даже в обыденной жизни, когда при полной общности и прозрачности языка, слыша речь другого и намереваясь понять ее, я учитываю различие между ним и собой. Но всякое стремление понять другого предполагает, что различие можно преодолеть. Задача состоит в том, чтобы точнее проникнуть в свойства и основания различий между говорящим и понимающим. А это сложно.

Но вначале мы остановимся еще на одном различии, а именно, между неопределенным плавным течением мысли и завершенным мыслительным комплексом. Там, как в потоке – бесконечный, непрерывный переход от одной мысли к другой, без необходимой связи. Здесь, в завершенной речи – определенная цель, к которой все стремится, одна мысль

необходимо определяет другую, и только когда цель достигнута, завершается ряд.

В первом случае преобладает индивидуальное, чисто психологическое, во втором – сознание определенного продвижения к цели, результат преднамеренный, методический, технический. В связи с этим, герменевтическая задача с этой стороны распадается на *чисто психологическую* и *техническую*.

Каждый человек время от времени, пусть только в душе, занят такими представлениями, которые мы, исходя из реального содержания жизни, считаем ничтожными. Если подобные состояния завладевают человеком, то реальное содержание жизни субъекта идет на убыль. Такого именуют рассеянным, он, как говорится, погружен в мысли, т.е. в такие, которые в действительности сводятся к нулю. Покуда такое состояние является внутренним, оно, конечно, не является предметом для нашей теории. А как у нас обстоят дела с обыденной беседой? Если она не является деловой, обсуждающей какой-нибудь определенный предмет и рождающей тенденцию, то идет лишь простой обмен мнениями, часто бессвязными, когда сказанное одним никак не влияет на мысли другого, и скорее говорят *мимо*, чем обращаются друг к другу. Но даже свободная, непринужденная беседа есть уже предмет для истолкования и по отношению именно к нашей задаче весьма запутанный. Чем больше некто говорит из самого себя, и основание его комбинации заложено исключительно в нем самом, тем скорее возникает вопрос, как же это у него получается. Иногда кажется, что знаешь, как бы другой ответил на то, что ты ему говоришь. Весьма значимо, когда кто-то умеет понимать последовательность представлений в другом как факт своей индивидуальности. В литературном аспекте, это умение, правда, не

приносит пользы, ибо абсолютно свободная игра мысли не так-то легко становится литературой. Единственную аналогию представляет здесь обычное дружеское письмо. Подобные письма значительных мужей, составляют немалую часть нашей литературы. Как факты их личного умонастроения, они сильно влияют на понимание их прочей литературной продукции. Сюда относятся произведения свободного мыслетворчества с довольно солидным объективным содержанием, например, в путевых описаниях и т.п., не обладающих художественной формой, или в письмах.

Их также можно рассматривать как факт умонастроения путешествующих и описывающих. Представим себе двух совместно путешествующих, которые передают свои впечатления. Эти впечатления будут разными. Если объективное положение вещей нам известно, тогда различия будут для нас весьма явными. Но чаще всего мы знакомимся с предметом по различным описаниям, и тогда нелегко отличить в них объективное от субъективного. – Далее сюда относится описание происшествий в мемуарах, дневниках и т.п., в которых преобладает нехудожественный пересказ собственных взглядов. Здесь собственное мнение может тесно переплетаться с объективным восприятием, так что различение объективных и субъективных элементов становится затруднительным. Тогда задача в том, чтобы рассмотреть изложение взглядов как факт в умонастроении автора.

Другое дело, если комбинирование подчинено определенной цели. Там между отдельными элементами иная цепь развития, константная величина, определенное соотношение каждого пункта с поставленной целью в сравнении с каждым предыдущим. В зависимости от цели различается и форма комбинирования. Здесь на лицо метод комбинирования и художественное творчество. Безыскусному составите-

лю мемуаров противостоит искусный писатель-историк. Здесь герменевтический процесс, очевидно, будет иным, нежели там. Я не могу требовать от мемуариста того же самого, что и от историка.

Нет ни одного жанра речевого сообщения, в котором не было бы этого различия. Повсюду, даже в области науки, есть свободная мыслительная игра, которая в известной мере подготавливает художественное творчество.

Весьма несправедливо было бы изгнать эту свободную игру из литературной среды. Историография, например, много бы потеряла, не будь авторов, пишущих нехудожественные воспоминания. Это имеет силу и для области науки в узком смысле.

В философском произведении словесного искусства выявить генезис авторских идей тем труднее, чем строже оно в научном отношении. Этот генезис скрыт. То, что стоит на вершине системы, не является непосредственной находкой автора, а есть продукт множества мыслительных рядов. Чтобы понять такое произведение в его генезисе как факт умонастроения его автора, должно быть еще нечто другое, некое произведение, имеющее более свободное изложение. В противном случае задачу можно решить только путем целого ряда аналогий. Поэтому трудно ознакомиться с Аристотелем психологически, исходя из его произведений, ибо у нас нет ни одного его произведения, написанного в свободной манере. Платона в этом смысле познать уже легче, поскольку его произведения имеют форму свободного изложения. Хотя это и маска, но все же за нее заглянуть проще, чем у Аристотеля. То же справедливо и для математики. Начала Эвклида долго рассматривали в качестве учебника геометрии, пока кто-то не сказал, что его целью было продемонстрировать, как правильные многогранники вписываются в шар, при этом он исходит из начал, но продвигается так, что

тот пункт никогда не упускает из виду. Судить об этой субъективной стороне Эвклида можно было бы только в том случае, если бы до нас дошло какое-нибудь из его произведений другого рода.

Различие в создании мыслей обусловлено не просто предметом и индивидуальностью говорящего, но и различием художественных форм. Пиндар, например, воспел поход аргонавтов, и это нечто совсем иное, нежели эпические стихи на ту же тему. Да и сам Пиндар в эпической форме изложил бы их совсем иначе, чем в лирической. Истолкованию, следовательно, надлежит обращать внимание на законы различных видов творчества, которые входят в понятие художественного творения. Иначе оно упускает из виду различные характеры и интересы.

Относительное противопоставление чисто психологического и технического более определенно можно выразить так: первое в большей степени относится к возникновению мыслей из совокупности жизненных моментов индивида, второе же в большей степени сводится к определенному мышлению и художественному намерению, из коих развиваются ряды.

Обе стороны более всего сближаются друг с другом, если придерживаться художественного намерения, замысла и избегать случайных эффектов. Но в своем отличии друг от друга техническое есть понимание медитации и композиции, а психологическое – понимание внезапных мыслей, под которыми разумеются и главные мысли, развивающиеся в целые ряды, а также понимание мыслей второстепенных.

К психологическому толкованию относятся два момента. Оно тем легче и надежнее, чем сильнее аналогия между способом комбинирования, которым пользуется автор и толкователь, и чем точнее знание о том материале, в котором

автор черпает свои представления. Оба момента в известном смысле могут дополнять друг друга. Чем точнее я ознакомлен с материалом представлений другого, тем легче мне преодолеть различие между нашим образом мыслей и наоборот. Если я считаю, что одно условие исполнено, то тем самым тотчас же исполняется и другое.

Если мы таким же образом станем рассматривать техническую сторону в ее всеобщности, то должны исходить из предположения, что любое состояние мысли, любой мыслительный ряд вырастает из жизнедеятельности. Поскольку мыслительный ряд возникает из жизнедеятельности, то имплицитно он уже полностью положен в самом начале, т.е. весь ряд представляет собой лишь развитие того момента возникновения; отдельные же части ряда уже определены действием, которое приводит в движение мысли, и если я понимаю их, то понимаю и само деяние. Но тогда отпадает все, что не имеет основания в самобытности автора; я обнаруживаю лишь то, что само получило развитие из свободного действия. Здесь с необходимостью вступает в действие техническое толкование. Ибо как только кто-то, следуя свободному решению, свободному действию, захочет осознать что-либо или изложить осознанное, что в данном случае одно и то же, то он вынужден пользоваться неким методом. Однако метод будет разным в зависимости от того, как он в своем самоопределении у себя спросит, добиться ли мне основательной изученности предмета, или же изложить продуманное в определенном направлении и для определенных людей? Первое есть метод *медитации*, второе – *композиции*.

Оба метода двойки, и их следует различать не только в отдельных примерах, но в каждом случае, включающем понятие композиции. Медитация может иногда удержать за-

мыслей в состоянии покоя, так что он проявит себя только от случая к случаю, и тогда уже в качестве второго акта непременно постулируется композиция, соединяющая единичное в целое. Этот случай, в сущности, присутствует всегда. Ибо даже если форма соприсутствует уже в первоначальном замысле (например, если кто-то задумал написать стихотворение определенной формы) и уже содержит многочисленные исключения и положительные элементы, то в процессе сочинения все же появится что-то, от чего временно следует отказаться. Так что, полная герменевтическая задача как раз в том и состоит, чтобы понять оба акта в их различии.

Это различие в медитации и композиции может породить сомнения в том, стоит ли при дальнейшем рассмотрении сохранять главное разделение на психологическую и техническую сторону задачи, или же следует рассматривать подвиды в организации композиции. Итак, в этом случае – сначала обнаружить замысел, т.е. единство и собственное направление произведения (психологически); затем понять композицию как *объективную* его реализацию; затем приступить к медитации как генетической реализации оного (и то и другое технически); и тогда уже заняться второстепенными мыслями как постоянным воздействием совокупной жизни, которое испытывает писатель. Рассматривая речь как завершенное целое и объясняя ее из исходного пункта, мы тем самым получим и конечный. Исходный пункт можно понять только из жизни отдельного человека, т.е. психологически. В то же время мы наблюдаем, как говорящий, будучи связан им, завершает свое произведение то одним, то другим способом. Так мы попадаем на техническую сторону, где рассматривается композиция и медитация. Но они имплицитно уже содержались в исходном пункте. И задача опять возвращается к психологической стороне. И потому кажется, что обе стороны, психологическую и техническую,

можно объединить друг с другом. Но из этого ничего не выйдет. Каждая сторона в отношении правил образует отдельное целое.

Сущность различия между обеими сторонами состоит в том, что, находясь на чисто психологической стороне, человек свободен, и мы можем обратиться к его жизненным обстоятельствам как принципам его самоопределения, – в то время как на другой, технической стороне, как в моменте медитации, так и композиции, действует власть формы, которой подчиняется рассказчик. Здесь форма заложена уже в концептуальном замысле. Поскольку она является чем-то устоявшимся, то ясно, что автор в той же мере есть орган формы, как и тип совокупной духовной жизни, подобно тому, как с грамматической стороны мы рассматриваем его как орган языка. Дело существенно не меняется, даже если нам попадается изобретатель некоей формы. Тогда мы задаёмся вопросом, каким образом автор додумался до изобретения новой формы, нового жанра? Мы различаем здесь момент отрицательный и положительный. Первый состоит в том, что зародыш некоего мыслительного комплекса отталкивает существующие формы вследствие недостатка внутреннего лада. Тогда нужно либо отказаться от материала, либо искать новую форму. Когда мы ищем форму, на сцену выступает положительный момент. Но ни одна вновь изобретенная форма не является абсолютно новой. Она уже где-то существует, но только не там, где нужна автору. Или она лежит в другой области искусства. Перетягивая ее в свою, автор, при всем новаторстве, все же подражает тому, что уже когда-то было. Или же сама форма уже присутствует в жизни, но только не используется в искусстве. Так, древняя драма, возникнув, почерпнула свою форму из повседневного разговора, подобно тому, как первоначальным типом для формы эпоса был рассказ. Самый хор в драмах имеет своим

прообразом встречу кого-то с толпой. Следовательно, мы должны сказать, что даже сам изобретатель новых форм не полностью свободен в своем выборе. Хотя и в его власти решить, станет ли форма устойчивой или нет, но и, создавая новые формы, он находится в плену уже существующих аналогов.

Придерживаясь главного различия между психологической и технической сторонами, мы, конечно, начнем с понимания импульса в индивидуе и затем уже перейдем к воздействию совокупной жизни на развитие целого, при этом предположив, что все упоминаемое нами о композиции, уже заранее известно из литературной жизни.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Задача содержит нечто двойственное, весьма различное по отношению к цельности произведения, и весьма сходное по отношению к элементам его продуцирования. Одно дело понять целиком основную идею произведения, другое дело уразуметь отдельные части онога в связи с жизнью автора. Первое есть то, из чего все развивается, а второе то, что в произведении наиболее случайно. Но и то и другое понимается из личной самобытности автора.

Первая задача, стало быть, понять единство произведения как факт в жизни его автора. Спрашивается, как писателю явилась мысль, из которой развивается целое, т.е. как она соотносится со всей его жизнью, и как момент возникновения соотносится с прочими моментами в жизни автора?

Можно подумать, что задача решена уже благодаря заглавию. Но это заблуждение. Ибо в заглавии для герменевтики нет ничего существенного, и в древности оно почти всегда опускалось. В произведениях древности оно возникло позднее; часто совершенно случайно и для единства произведения существенного значения не имеет, так, например, заглавие *Илиада*.

При решении задачи нужно исходить из следующего противопоставления. С одной стороны, чем лучше произведение по своей форме сочетается с профессией автора, тем скорее можно понять генезис сам по себе. Тогда остается вопрос: как автор овладел определенной профессией. Однако по отношению к данному конкретному произведению этот вопрос совершенно неинтересен. Противоположным

будет случай, когда задача осложняется в той мере, в какой деятельность, результатом коей является произведение, для жизни автора случайна. Тогда для решения задачи нужно иметь перед глазами всю жизнь автора.

Мы отличаем здесь вопрос, *в силу каких обстоятельств автор пришел к своему замыслу, от вопроса, что этот замысел значит в нем, или какое значение он имеет для всей его совокупной жизни?* –

Первый вопрос относится к внешнему и объясняет тоже только внешнее. В нем даже кроется нечто, что легко сбивает с правильного пути. В возникновении авторского замысла всегда есть случайности. То, что однажды посеяно в душе, может дать всходы под влиянием совершенно других обстоятельств. Стоит лишь начать искать да сопоставлять, как тут же пускаешься в погоню за анекдотами.

Если представить себе плодовитого писателя и сопоставить друг с другом его произведения, то верное их рассмотрение сведется к тому, чтобы выявить присущую им некую необходимость, внутреннее продвижение во временной последовательности, как писатель в определенное время приступил, как он, набрав высоту, достиг вершины, а затем вновь пошел под гору. Без такого созерцания временной последовательности произведений ни одного писателя не понять. Если в произведении встречаются намеки на особенности эпохи и т.д., то важно и их понимать, исходя из этих особенностей. Но внешние обстоятельства сами по себе недостаточны для объяснения замысла.

В связи со сказанным, можно сформулировать следующее общее правило: Чем больше произведение отражает внутреннюю сущность писателя, тем меньшее значение для герменевтической задачи имеют внешние обстоятельства, и наоборот, чем больше автора побудили к написанию произ-

ведения внешние обстоятельства, тем важнее знать внешние побудительные причины.

Намного важнее *второй* вопрос, что означает истинный, внутренний зародыш произведения, замысел в жизни автора?

Только в истинных произведениях искусства уместен вопрос о соотношении содержания и формы. Но герменевтической задаче отводится в этом отношении несравненно большая область. Представим себе случай, что многие станут обрабатывать и излагать один и тот же исторический материал, насколько же разным будет его изложение? Один напишет хронику, другой составит прагматически связную историю.

У одного преобладает критическая тенденция, другой предпочтет раскрыть этические мотивы событий. Без знания особой тенденции, особой цели нельзя понять конструкцию произведения.

Но тенденция, цель произведения может восприниматься весьма по-разному. Это различие не обязательно снимается герменевтическими правилами; каждый воспользуется ими по-разному, по своему усмотрению.

Правда существуют случаи, когда автор объявляет о своей истинной тенденции. Но и тут не все так просто. Если, не забывая о тенденции, продолжишь чтение и встретишь места, в которых данной тенденции нет и следа, то усомнишься в наличии у автора таковой. И решение задачи весьма осложнится. Но самое сложное, если перед нами произведения, которые вторгаются в деловую жизнь. Здесь бывают случаи, когда тенденция намеренно скрыта. Если есть точные сведения об образе мыслей и чувственных представлений автора, а также о его жизненных обстоятельствах, и если среди его произведений можно найти соответствующие отношения, то задача облегчается. Но бывают случаи, когда на вопрос о тенденции автора нельзя дать ответа. Если

вопрос находится на острие всего герменевтического процесса, то он, если на него не удастся ответить, пожалуй, окажется под угрозой даже с грамматической стороны. Есть такие произведения, которые остаются герменевтическими загадками, где у нас нет ничего, чтобы ответить на этот вопрос. Но есть и нечто, что может уменьшить зло. Между единством целого и отдельными частями произведения происходит, как мы уже объявили в начале, взаимодействие, так что задачу можно поставить двояко, а именно, как понимание единства целого, происходящее из единства отдельных частей, и значимости отдельных частей, исходящей из единства целого. Если единство целого неизвестно, то из него нельзя понять и отдельные части, нужно идти тогда иным путем – от возможно более полного понимания отдельных частей к познанию единства целого.

Но и это весьма непросто, а потому нет и надежного пути в решении задачи. С его помощью можно только уменьшить загадочность. Главным остается метод, в соответствии с которым целое и его единство понимается исходя из отдельных частей. Это происходит посредством композиции, но которая, дабы не спутать обе стороны толкования, психологическую и техническую, предполагается лишь в той мере, в какой ее понимание возможно в данной точке толкования. Если по аналогии с произведением искусства все единичное проявляется в единстве содержания и формы, то задача, едва я осознал ее, может быть решена. Если же, напротив, не все единичное растворяется в единстве содержания и формы, а всё оставшееся за его пределами связано друг с другом, то именно здесь кроется единство, тайная цель автора. Понять ее наверняка, разумеется, очень трудно. Это можно наглядно показать на примере гипотезы об антихристианской тенденции труда Гиббона. Всякая подобная цель мешает естественной непосредственности писателя в пост-

роении композиции. Поэтому тайное намерение в текстах, которые целиком принадлежат области искусства и науки, следует ожидать в меньшей степени, чем в тех, что относятся к деловой жизни. Если нечто подобное встречается в художественных или научных произведениях, то их художественная и научная ценность значительно снижается. Деловая жизнь в литературном творчестве – весьма ограниченная область. Но не редко происходят столкновения между чисто научной и художественной направленностью, с одной стороны, и направленностью на описание быта, с другой. Здесь на сцену выходит дипломатия. Это преимущественно происходит там и тогда, когда в области искусства и науки возникают группировки, которые вмешиваются в жизнь, или когда государственная жизнь стоит в оппозиции к науке и искусству. Итак, необходимо полное знание условий и обстоятельств жизни автора, чтобы решить, стоит ли искать тайные намерения в его произведениях или нет.

Предварительные штудии покажут, можно ли в произведении предполагать такое единство, в котором целое объясняется единичным и наоборот.

Но собственная тенденция представлена здесь только в общих чертах. Задача будет состоять в том, чтобы проследить ее во всех частях произведения.

Если для решения этой задачи мы внимательно присмотримся к первоначальному замыслу автора, то сначала возникнет вопрос, какую количественную часть его жизни он занимает.

Первоначальный замысел в самом авторе может иметь тройственную значимость. Максимум значимости заключается в истинном труде всей жизни, если этот замысел заполняет собой всю жизнь. Минимум содержится в произведении, сочиненном на случай, которое никак не соприкасается

с профессией автора, но появилось чисто случайно. Между этими двумя точками располагается третья, студия, а также возникшие по воле случая заготовки для произведения. Всякая такая продукция, не будучи ни самим произведением, ни частью его, все же не случайна, ибо с тем произведением соотносится. Эти три точки образуют количественную иерархию в предварительном замысле, и нетрудно понять, что для герменевтической операции они очень важны. Если герменевтический анализ ведется без учета и правильной оценки неравнозначности первоначального замысла, из которого возник текст, то непонимания неизбежны. Произведение-фрагмент толкуется иначе, нежели настоящий труд всей жизни. Там, например, следует ожидать неровностей в обращении с предметом. Чем организованнее произведение, так что все согласуется с его целостностью и единством, тем менее эти неровности будут бросаться в глаза. Герменевтический анализ в первом случае будет иным, нежели во втором.

Каким путем определить, является ли произведение тем или другим? Нужно знать все совокупное творчество автора. Представим себе, что один и тот же писатель создал само произведение, а также схолии к нему, но само произведение утрачено, схолии же остались. Если я этого не знаю, то едва ли смогу вынести об авторе справедливое суждение. Пожалуй, скажут, что произведение сработано несовершенно и односторонне. Но это неверное суждение, и понимание текста как факта сильно изменится от этого.

Или же кто-то другой сочтет, что в оном продукте творчества нет абсолютно никакой гармонии, и из этого следует, что автор не проявил интереса к обработке целого, а обработал лишь отдельные части. Это суждение было бы таким же неверным. Как первое, так и второе невыгодно для гер-

меневтического рассмотрения, но и то и другое происходят из-за незнания совокупного творчества автора. Если мы обратимся к противопоставлению между настоящими произведениями и случайной продукцией, то убедимся, что в первом случае автор должен выражаться намного яснее, чем во втором. Последние основываются на простых импульсах и суть самостоятельные элементы. В них есть известное самоотрицание, и деятельность автора в большей степени определяется отношением к тому, что вызывает этот импульс. Он должен также считаться со вкусами того круга, внутри которого возникла сия продукция. Материя получит свое объяснение, из определенного круга общественной жизни, к которому относится, но не из самого автора. Случайный текст мог бы стать настоящим произведением, но тогда он бы был совсем иным. Есть пример высокой художественной ценности, в котором трудно заметить данное различие, это — оды Пиндара. С одной стороны, они написаны на случай, с другой, представляют собой завершенные произведения искусства, и таким образом, то, что казалось противоположностью, выступает в обоюдном взаимопроникновении. Загадка разрешается, если сказать, что те сочинения на случай автор сделал своей профессией, т.е. поэт хочет заявить о себе именно в данной жизненной сфере, к которой относится стихотворение, и, таким образом, понуждает сие случайное произведение стать и произведением искусства. Подобное встречается редко, но герменевтика должна правильно оценивать его количественную значимость.

Объединив и те, и другие особенности сочинения, написанного на случай и настоящего произведения, и предположив, что всякое произведение может обладать единством, превышающим чистое соотношение содержания и формы, то успех герменевтической задачи будет целиком зависеть от того, насколько верно мы отыщем это единство. Оба жан-

ра обладают различной значимостью, зависящей от значимости писателя.

Если писатель незначительный, то никого не интересует, что тот хотел сказать своим произведением. Но в чем различие между значительным и незначительным писателем? Незначительный – это тот, произведение которого нет оснований считать фактом его жизни, напротив того, эта сторона полностью заслоняется грамматической. Как уже отмечалось, бывают случаи, когда писатель пытается скрыть единство своего произведения. В подобном случае части в основном таковы, что их нельзя понять из взаимоотношения содержания и формы. Сравним этот случай с последним различием и спросим, что относится к максимуму и минимуму? Если представить себе, что в произведении нет ничего единичного, чего нельзя было бы понять из отношения содержания и формы, то таковое являлось бы в известном смысле самым совершенным произведением искусства, но, будучи всего лишь произведением искусства, как произведение отдельной личности весьма несовершенным. Ведь если бы его полностью можно было понять из отношения содержания и формы, то вся деятельность автора, будь форма задана, сводилась бы к отбору материала и выбору подходящей формы. А этого не может быть, ибо не существует таких абсолютно определенных форм, когда при данности содержания все понималось бы само собой. Но чем более определенными являются содержание и форма, тем меньше можно встретить индивидуального и самобытного. Если предположить, что у произведения есть определенная степень совершенства, вне какой бы то ни было самобытности своего автора, то область, к которой оно относится, была бы просто механизированной. Устойчивые формы обычно приближаются к такой механизированной области. Чем опреде-

леннее законы некоей формы, тем бессодержательнее продукция самобытного творчества. Таким образом, индивидуальная жизнь противопоставлена механизированной. Но их соотношение в текстах различается. Индивидуальное начало никогда не исчезает абсолютно.

Тут нас смущает то, что завоевало себе авторитет в теории искусства. Возьмем, например, древнюю трагедию. Здесь форма некоторым образом и в известной степени является определенной. Когда многим поэтам одновременно приходится обрабатывать один и тот же материал, их исходные позиции бывают очень близки.

Чем больше отличие, тем большая или меньшая доля несовершенства выявляется с той или другой стороны. Но в чем состоит причина этого различия? Когда мы сводим целое к волевому акту автора, что, спрашивается, волил тот или иной? Соотношение содержания и формы при этом чисто внешнее. Если скажут, что у того или иного была какая-то определенная политическая или моральная цель, то теория искусства возразит на это, что тем самым умалется чистота произведения искусства, у него не должно быть определенной цели. Если эта теория верна, то позволим себе заметить, что в основании лежит определенная направленность, а не определенная цель. Но это справедливо лишь настолько, насколько толкуемое произведение представляет собой чистое произведение искусства, ибо в таковом нет ничего лишнего, а все растворяется в содержании и форме. Если ценность текста совпадает с ценностью чистого произведения искусства, то в первоначальный замысел не следует вкладывать ничего, кроме чистого самопроявления двустороннего соответствия между формой и содержанием. Тем самым и для герменевтики возникает вопрос, считать ли некое произведение произведением искусства или нет? Оп-

ределяется ли это формой или же нет? Если в определенной языковой и национальной области искусство[164]оформилось определенным образом, то по форме можно точно установить, с какой меркой подходить к толкованию произведения. Но где и когда можно было установить всю полноту этой меры? Но если даже и помыслить эту полноту, то в перипетиях жизни всегда сыщутся случаи, когда настоящую художественную форму для достижения каких-то целей использовали не по назначению. Однако это легко распознать. Художник, может быть, скрыл свою настоящую цель, однако в произведении искусства остались детали и вовсе не разрозненные мелочи, но составляющие единое целое и образующие истинную тенденцию. И тут мы вступаем в большую область, которая в этом отношении несколько двусмысленна. А именно повсюду, также и за пределами непосредственной области искусства присутствует определенная художественная тенденция, делающая вопрос двусмысленным, а ответ – затруднительным. Так, историография имеет чисто научное происхождение, однако вплотную приближается к области искусства.

Но никто не повествует о событиях без особого только ему свойственного способа видения и суждения. Это не входит в его намерения, но этого не избежать; но поскольку сие неизбежно, постольку и бессознательно и потому не оказывает влияния на композицию. И совсем другое дело, если кто-то использует историографию в качестве средства, чтобы преподать или упразднить определенные принципы и максимы. В этом видится определенная цель, которая не содержится в естественном соотношении содержания и формы. Но чем более некая цель довлеет изложению так, что ей приходится скрываться, тем более надлежит рассматривать форму как самостоятельную область искусства. Следова-

тельно, существует не просто противопоставление между практической жизнью и искусством, но и между наукой и искусством. И научное изложение заключает свою цель в себе самом, но она другая, нежели самовыражение в искусстве, а именно, – сообщение чего-то объективного, познавательного. В той мере, в какой научное изложение приближается к художественному, возникает и иная композиция. Чем больше научный предмет допускает подобное приближение, тем уместнее при толковании вопрос, не желал ли сам писатель подобного приближения. Если он изначально желал такового, то оно проявится во всей композиции. А что касается скрытой цели, то в чисто научном сообщении она менее вероятна, нежели там, где есть близость с художественной формой. В этом случае особая цель не так очевидна, и ее нужно отыскать. Ныне в письменном изложении уже сложились свои определенные объективные художественные мерки. Степень проявления такой цели влияет на всю композицию. Одни и те же мысли требуют разного изложения, если текст претендует на изящество и в художественном отношении, а не просто преследует цель объективного изложения. Если не заметить этого различия, то нельзя достойно воссоздать авторский стиль. И хотя это крайние точки – чисто художественное изложение само по себе и достижение положительной цели – но даже последнему свойственно некое художественно чуткое отношение к языку, ибо иначе можно оттолкнуть читателя. Задача заключается только в том, чтобы определить меру этой художественности.

Все, что в определенном объеме является сообщением посредством речи, есть предмет искусства толкования и принадлежит либо к определенному деловому кругу, либо имеет аналогию с наукой или искусством. А их невозможно четко противопоставить друг другу. Даже то, что имеет хождение в

деловом кругу, может стать предметом художественного изображения. Там есть общее и переходы. Но можно ставить себе определенные ориентиры и различать, в соответствие с какими из них следует воспринимать произведение.

Некоторые комплексы мыслей, становясь предметом толкования, обладают единством, которое заключается в отношениях между самим предметом и формой. Это – объективное единство во всех трех областях. При этом еще можно различить единство объективное, поскольку оно лежит в содержании, и техническое, имеющее отношение к форме. Одно понимается через другое. Кроме того, всякий мыслительный комплекс обладает единством кроме вышеозначенных, а именно субъективным, связанным с волеизъявлением автора, смыкающим содержание с формой. Во всяком произведении, относящемся к области искусства, нельзя предположить никакого иного единства, кроме самовыражения. Поскольку, как уже говорилось, чисто художественное творчество реагирует на всякое иное влияние, возникает задача обнаружения такового, если оно присутствует. В общем, спрашивается, каким образом в различных видах и формах композиции можно отыскать субъективно дополнительные цели или же подчиненные единства? Никогда нельзя предполагать наличие такой дополнительной цели напрямую, но из самого текста должно уже возникать предчувствие таковой. Выше упоминался случай, когда в художественных произведениях существующая форма довлеет над ними так, что различие между многими писателями, художественно обрабатывающими один и тот же материал, весьма невелико. Но этот случай – только фикция, чтобы показать, насколько же может доминировать объективное единство, если оно не дает проявиться достаточному самовыражению. Но предположив, что искусство стремится к упомянутой власти объек-

тивного, тогда как в субъектах действует мощная тяга к самовыражению, следует искать новых форм.

Возникает антагонизм между порабощением художника формой и творчеством одного внутри формы. Если представить, что тут имеется дополнительная цель, то она окажет известное сопротивление этому господству формы. Но именно в этом проявляется самовыражение автора. Все, что не определено изложением материала, дает нам представление об авторе и его манере мыслить. Точно также, когда многие берутся за обработку одного и того же предмета с одинаковой тенденцией, и обнаруживаются элементы, в которых та общая тенденция себя не проявляет,] то по этому признаку можно определить различие и самобытность авторской воли. Даже в любом научном произведении есть элементы, которые определяют меру проявления авторской воли в изложении. Если ученый задался целью вызвать удовольствие формой своего изложения, то из сопоставления чисто дидактической формы с элементами, не относящимися к ней по существу, выявится изначальное волеизъявление автора. Особая дополнительная цель может быть либо скрыта, либо нет. В последнем случае, например, научное сочинение будет носить явно полемический характер. В области чистого искусства сокрытие дополнительной цели является необходимостью, а в области деловой жизни — лишь возможностью. Там сокрытие соплагается волеизъявлению, и, стало быть, позволяет обнаружить себя и в изложении единичного. Если же сокрытие, напротив, лишь возможно, то основное внимание во время герменевтической операции отводится отысканию этого сокрытого, неплохо было бы точно зная писателя и его ситуации заранее составить себе представление об этом. При этом речь идет о правильном усвоении главных и второстепенных мыслей. Главные мысли стро-

го сопряжены со взаимопереходом содержания и формы друг в друга, второстепенные же – нет. Но соотношение это весьма различно, его определенность принадлежит по существу к единству произведения и определяет его характер. Чтобы понять это, нужно представить это соотношение в его крайних точках.

С количественной стороны этого соотношения противоположность между главными и второстепенными мыслями может исчезать, если второстепенные мысли либо исключены, либо занимают относительно одинаковое пространство. Если противоположность снята, то произведение становится скорее свободной комбинацией мыслей, свободной игрой. Если же, напротив того, противоречие преобладает, то единство произведения становится более определенным и высоким. В другом случае резче выступает самовыражение автора. Вообще можно установить следующее: Там, где существует определенная форма, преобладает указанная противоположность, и, наоборот, там, где эта противоположность не преобладает, царит бесформенность или минимум формы. Тем самым обозначено качественное отношение. Если противоположность снята замыслом, то это есть не что иное, как неконтролируемое увлечение свободным творчеством, начиная с того момента, когда замысел начал осуществляться. Подобная акция была бы равна нулю, если бы не было определяющей точки, некой смычки. Это можно наглядно представить на примере свободного творчества в разговоре; там в роли смычки выступает, по крайней мере, общение. Его аналогом в области письменности является переписка, которая формально представляет собой разъединенный диалог. Здесь противоположность между главными и второстепенными мыслями лежит вовсе не в изначальном волеии пишущего. Напротив располагаются все виды про-

изведений, в которых указанная противоположность преобладает.

И здесь для герменевтической теории сна встает вопрос о соотношении психологического и технического.

Если следовать первоначальному замыслу, чтобы понять единство произведения как факт жизни его автора, то развитие этого замысла независимо от свободной игры мысли является предметом технической интерпретации, в которой мы различили медитацию и композицию.

Если представить себе случай свободной игры ассоциаций, которые сообщаются другому, то для отыскания смычки, нужно знать об отношении между обоими, автором и читателем. Сразу же возникает различие между тем, что развивается из этого отношения само собой, и тем, что приходит к писателю извне.

Это различие необходимо уяснить, но оно в данном случае будет минимальным. Точно также вовсе нельзя утверждать, что, например, у письма нет ни формы, ни композиции. Здесь обнаруживается различие между медитацией и композицией, поскольку у письма все же имеется некое мыслительное содержание. Все это, правда, в уменьшенном масштабе. Противоположность между главными и второстепенными мыслями всегда соотносится с формой, даже если она и не задумана с самого начала. Форма является ближайшей категорией, от которой зависит любая другая герменевтическая операция с этой стороны. Пусть форма будет произвольной, но с того момента, когда замысел воплотился в некоторую форму, автор становится органом формы, более или менее свободным, в зависимости от того, является ли сама форма более свободной или же более жесткой.

Само единство можно мыслить в первоначальном замысле более сильным или более слабым. Самым слабым

является такое, при котором замысел заключается лишь в сообщении свободного течения мысли. Здесь противоречие между главными и второстепенными идеями совершенно снято. Самым сильным и плодотворным для истолкования будет такое единство, которое более всего связывает автора и соотносится с определенной формой. Между этими двумя полюсами располагается весь подвижный ряд единичных моментов.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО К НОВОМУ ЗАВЕТУ

(...)

Рассмотрим, какую форму должна принять историческая продукция, именуемая нами биографией.

Невозможно изобразить *непрерывность* исполнения моментов времени. Если бы это было возможно, то только в форме *строгой* хроники, ибо в ней время делится на поступательно движущиеся отрезки. Если отвлечься от этого и положить в биографическом содержании различие между тем, что именно благодаря своему содержанию заслуживает сообщения и тем, что нет, то могут возникнуть пробелы. Такую продукцию следовало бы рассматривать как набор отдельных деталей. В основе идеи жизнеописания лежит непрерывность, ибо жизнь есть нечто Одно. Но хотя и нельзя изобразить непрерывность непосредственно, а только по частям, которые обособлены друг от друга, все же не обойтись и без отношения отдельной части к самой непрерывности.

Это отношение заключено не в идентичности субъекта, а во временном процессе. Следовательно, детали следует располагать во времени таким образом, чтобы читатель видел непрерывность. Простая рядоположенность деталей вне указанной непрерывности составляет лишь материал, элементы к биографии. Непосредственно из них нельзя составить никакой биографии; они остаются, даже если отдельные части составляются во времени и снабжаются соединительными формами, простым набором частей, в котором отсутствует внутренняя взаимосвязь во временном процессе.

(...)

Что же касается *дидактических* текстов, то их эпистолярная форма позволяет предположить возможность абсолютного мыслительного потока, т.е. наименьшую степень единства и определенности, так что противоречия между главными и второстепенными мыслями нет. Если отделить мысли друг от друга, то все они предстанут в качестве второстепенных, и остается только выяснить, почему они возникли именно теперь и так, а не иначе. Однако форма письма и сама по себе допускает возможность приближения к строгой форме и единству; напр., в чисто деловом письме. В дидактических письмах по отношению к единству возможно широкое многообразие. Минимальным был бы замысел свободного мыслительного потока. Но с другой стороны, письмо-поучение, может приближаться к дидактической и риторической форме. Представим себе задачу, сообщить другим людям некоторые выводы об определенном предмете. Это содержало бы объективное единство, и такая цель легко достижима в форме письма. — А далее возникает вопрос о различии между общей дидактической и особенной формой письма; — есть ли и какова разница между тем, чтобы поучать кого-нибудь в форме письма, и между тем, чтобы проделывать это в тексте, не имеющем определенного адресата? Различие может быть ничтожным, если эпистолярная форма фиктивна, как например, в случае писем Эйлера к принцессе. Другое дело, когда плоды познания сообщаются в эпистолярной форме, обусловленной определенным личным отношением между писателем и его адресатом. Здесь эпистолярная форма есть нечто настоящее, проявление реальной общности двух людей.

Если исходить из противоположного пункта, из замысла, допускающего чистое течение мысли, то в этом случае ог-

лядка на тех, для кого пишут, явится *ограничительным* принципом. Свободная игра сдерживается, ограничивается, если в сочинении появляется нечто, что оказывается неподходящим для тех, кому сочинение адресовано. Однако образ тех, кому сочинение адресовано, бывает в душе пишущего настолько отчетливым, что ему и в голову не придет ничего такого, что не являлось бы принятым и уместным в данном кругу. В этом случае отношение к другим является *определяющим*, даже ведущим принципом.

Представим себе, что, если кто-то решил свободно обратиться ко многим, то воля к этому возникла в определенный момент. Если писатель пребывал тогда в спокойном состоянии духа, то был необходим некий толчок, чтобы породить подобный волевой акт. В роли такового может выступать даже какое-нибудь живое воспоминание, или же удобный повод для сообщения. И если состояние, в котором находится пишущий, отождествляется с данным волевым актом, то и в этом состоянии есть определяющая основа для направленности его сообщений. То, чему он был живым свидетелем, словно росток получает развитие в волевом акте, и если нет существенных изменений, и творческий акт следует с возможной быстротой, то онный есть разложение данного момента на части. Но если мы скажем, что состояние пишущего значительно меняется, то изменившиеся элементы перейдут в текст, не будучи порой упомянуты пишущим. Воля изменяется и переносится на современное состояние, вытесняя прошлое. Если учесть, что различные состояния занимают в творческом акте продолжительные отрезки времени, то соответствующие им массивы будут разными, особенно для читателя. Именно поэтому пишущий будет сам разделять таковые на отдельные абзацы, и если он при этом замечает разницу во времени, то данное сообщение есть письмо. Оно является следствием изменившихся состояний

и сообщением о них. Самая форма письма остается, только единство стало иным; при всей пространности мысли она по-своему будет истинной, даже если и примет размеры целой книги.(...)

Следует обратить внимание еще и на то, что эпистолярная форма, не будучи чисто субъективной, может в определенной степени приближаться к риторике. Дидактика стремится сообщать результаты познания, риторика – вызывать принятие решения, поскольку оно переходит в действия. И если кто-то хочет вызвать подобное решение, то сообщение будет соотноситься с чем-то определенным в жизни, и тут возможна именно такая строгость, как в публичной речи, когда перед тобой находится тот, кого требуется взволновать. Но свободное течение мысли совершенно отрицается положенной необходимостью принятия решения, которое вместе с исполнением может составлять для адресата один акт, все части которого взаимодействуют. Если бы нам вздумалось растянуть такую речь настолько, что, прежде чем мы прочли ее до конца, самое начало стерлось бы в памяти, то не было бы и нужды в ее написании. Здесь, стало быть, обозначены определенные границы, и следует воздерживаться от всего, что не содействует достижению цели. Здесь перед нами крайние точки, а между ними имеются разнообразные переходы.

Как нам отыскать единство в конкретном случае? Там, где в письме содержится только дидактика или риторика, единства не распознать невозможно. Но там, где такой дидактической или риторической формы вовсе нет, следует проследить, как отсутствие единства или же сокращенное единство видоизменяется посредством двусторонних отношений между составителем и адресатом письма. То, что от этой формы присоединяется к последнему, сокращенному

единству, составляет более трудную сторону задачи, а то, что к первому, т.е. отсутствию этого единства – более легкую. В первом случае имеется двойственность дидактического и риторического элементов. Если некое скрытое намерение станет очевидным посредством отдельных разрозненных точек внутри свободного сообщения такого рода, то скорее следует предположить наличие риторической цели, нежели дидактической. В дидактической же цели, пожалуй, только тогда, когда намерение наставлять наставляемых не может быть достигнуто прямым путем, но всегда лишь косвенно и незаметно. Скорее же может случиться, что скрытой останется риторическая цель, особенно в эпистолярном сообщении.

В устной речи гораздо меньше, поскольку в ней успех приходит тотчас. Эпистолярное сообщение не так категорично, как устная речь; у адресата есть время вернуться к тому способу, каким его определили, что в устной речи слушатель сделать не может. Намерение, следовательно, надлежит тем более скрывать, чем более различаются обоюдные интересы.

Вхождение иного единства в основное развитие есть то, что мы называем *дигрессией*. Существуют формы, в которых подобное совершенно недопустимо, но есть и другие, например, эпистолярная форма, в которых дигрессия присутствует. Во всякой форме она оценивается по-своему. В эпистолярной форме ее иначе, как включением элементов некоего Второго рода, образующего иное единство по сравнению с Первым, а именно единство совершенно неопределенное, – в Первое единство, – и не объяснить. Нельзя при первом общем обзоре позволить сбить себя с толку вопросом о некоем определенном предмете, ибо, когда этот предмет вновь присоединится, станет ясным, что главная мысль из виду не упущена. Этот вопрос, собственно говоря, отно-

сится к правильной композиции, и должен быть упомянут в этом месте, т.к. задача поиска единства решается именно здесь, но при этом следует отметить, насколько вредна дигрессия. Если мы все-таки остановимся на свободной эпистолярной форме, то вспомним, что выше установили двойственность. Автор может писать, сообразуясь со своим состоянием или же с образом, который у него сложился о состоянии других; только этот образ не должен привязывать его к отдельному предмету, иначе возникнет другая форма. Если некто пишет, сообразуясь со своим состоянием, а именно, сообщая о себе и о своей жизни, то здесь мы имеем самый легкий случай, и в нем нельзя ошибиться. Автор письма может подвергаться внешнему воздействию, но если это просто участие, а личность его не задета, и рождаются только мысли, продиктованные сочувствием, то целое проистекает из состояния пишущего. В этом случае может показаться, будто он проник в состояние адресата и говорит из него, но было бы неверно при толковании следовать этой кажимости.

Если мне не дано ничего другого, то я в любой момент могу обнаружить как истину, так и ложь; порой решение основано на едва уловимых намеках. Совсем другое дело, когда есть точное знание о жизни автора и адресата. Тут никогда не возникнет сомнений, побудило ли кого-то стороннее влияние, или же он писал, сообразуясь исключительно со своим состоянием. Однако зачастую решающим является только усиление или ослабление тона.

(...)

Если мы вернемся теперь ко всеобщему, то следуя установленному порядку, заключающемуся в большем желании предпослать психологическую сторону технической, дойдем до элементов, которые, собственно говоря, предполага-

ют техническое толкование, но понимание которых из технического почерпнуть нельзя.

Первая задача состояла в том, чтобы тот импульс, который лежит в основе всего акта написания произведения, правильно понять как факт в пишущем. Но мы говорили, что существует некоторое число элементов, которые с импульсом непосредственно не связаны. То, что связано с ним непосредственно, объясняется медитацией, т.е. определенным сознанием, и занимает благодаря композиции подобающее место. Но у всякого произведения, помимо того, всегда есть элементы, которые именуются второстепенными мыслями и понимаются только как факты в процессе представления пишущего, поскольку он не зависит от изначального импульса. Как следует понимать эти элементы? –

Если рассмотреть беседу, то она начинается с совершенно свободного состояния, в основе которого нет абсолютно никакого определенного объективного намерения, а только обмен мыслями, вызывающими друг друга. Однако беседа легко находит себе предмет, который для обеих сторон является одинаково желательным. Так возникает совместное движение мысли и определенное отношение между высказываниями одного и другого, а что из этого получается, нам сейчас не важно. Однако беседа позволяет отвлекаться в сторону. Тут возникает вопрос, что подвигло говорящего на это? Задача заключается в том, чтобы выявить генезис подобных отступлений.

Изрядно обобщая, скажем, что подобные отступления угадываются заранее – пожалуй, лишь в случае более обстоятельного знакомства с произвольной манерой комбинации другого. Чем лучше это знакомство, тем легче выяснить второстепенные идеи, проследить самый генезис отступлений. Если мы отдадим себе в этом более полный отчет, то,

наверняка, увидим, что общие, по большей части логические законы комбинации, которые определяют существенные отрезки речи, не имеют к ним никакого отношения. Нам следует вернуться в область психологического, попытаться объяснить, чем именно определяется свободная и скорее произвольная манера комбинации. Опорой послужит собственное самонаблюдение. Только эта аналогия делает возможным поставить своей задачей выяснение генезиса второстепенных мыслей. Наиболее естественно здесь представить себя в состоянии такой медитации, в которой препятствием выступала бы определенная склонность к рассеянию мысли. Имеется в виду не отсутствие воли к мысли, а отсутствие воли к связыванию в представлении, которое необходимо постоянно преодолевать. Проявляясь у каждого по-разному, подобное все же случается с каждым. Если мы не преодолеем склонности к рассеянности, то медитация завершится постоянным изменением хода представлений. Если измененная форма представлений исходит из определенной точки, то возникает лишь иная медитация. Здесь, однако, речь идет о той свободной игре представлений, при которой наша воля пассивна, духовное же бытие, напротив того, деятельно. Чем свободнее бы отдаемся такому течению мысли, тем больше наше состояние напоминает сновидение, а оно есть непонятное в чистом виде, именно потому, что не подчиняется никакому закону взаимосвязи и, следовательно, предстает лишь как нечто случайное.

Чтобы для всей этой области непонятного найти опосредование, нам следует вернуться к состоянию медитации и спросить, как оный соотносится со всем нашим бытием?

Здесь надо различать две вещи. Всякое состояние представления само по себе является моментом, а потому оно преходяще. Но, с другой стороны, всякое такое состояние

оставляет определенный след, и на этом основывается возможность повторения изначального момента.

Если бы этого не было, то всякое представление исчезло бы в самом моменте, а наше совокупное бытие растворилось бы в каждом данном моменте. В состоянии медитации исчезает одномоментное; то, что возникло в первый момент, мы сохраняем во втором, и потому целое является одновременно единым актом, а та соотнесенность, которая заключена в поступательном движении замысла, преодолевает сиюминутное исчезновение и должна, собственно говоря, преодолеть его совершенно. Кроме того, существует и другое аналогичное медитации состояние, состояние наблюдения, в котором продуктивность принимает форму восприятия. Здесь все то же самое, предметы меняются, они исчезают, но полученные представления остаются и не забываются. Волевой акт тесно связывает их и меняет природу свойственного им одномоментного исчезновения. Если указанный волевой акт произойдет, то возникшее ранее сможет повториться вновь, хотя и в различной степени по отношению ко времени и предмету. Спросим, как же мы относимся к этому остатку? Он есть, и в то же время его нет. Его нет, если мы сравниваем его с тем, что непосредственно наполняет каждый момент, и он есть, поскольку его можно повторить, не создавая заново в первоначальном виде. Он воссоздается из первого генезиса. Но это воссоздание связано с определенным волевым актом, если оно вступает в действие в области медитации или непосредственно соотносится с наблюдением. Но воссоздание может последовать и без волевого акта. В этом случае мы редко можем отдать себе определенный отчет, но если понаблюдать за собой в состоянии воли к рассеянию, то все, что вступает извне и прерывает процесс медитации, является только таким воссоздани-

ем уже полученных представлений. Нам, следовательно, необходимо различать целый ряд представлений, который действительно наполняет всякий данный момент и зависит от нашего волевого акта, т.е. медитацию или наблюдение в широком смысле; и далее массу представлений, кои у нас есть, но коими мы, по существу, не владеем, и кои, следовательно, не подчинены нашему волевому акту. Если мы рассмотрим рассеивающее в состоянии медитации, то оно есть воля к бытию подобных рассеивающих представлений, т.е. направленность на наше совокупное бытие, против которого выступает воля к бытию одного момента.

Такой акт можно понять только из нашего совокупного бытия. Если мы находимся в состоянии сообщения, т.е. медитации и выражения одновременно, то упомянутая склонность к рассеянию проявится и здесь, ибо один и тот же волевой акт делится на два момента, определенное мышление и сообщение. Если мы в действительной медитации без сообщения преодолели рассеяние, то оно не совпадет с тем, которое снова появится во втором акте, в изложении, но какое-то будет присутствовать всегда. Если мы представим себе в сообщении такие элементы, которые нельзя объяснить, исходя из преобладающего волевого акта, то остается только вывести их из свободной игры. Но если такие представления входят в сообщение, то это происходит только посредством волевого акта. Если представить себе кого-то, кто предавался строгой медитации так, что он полностью овладел своим предметом, и представить себе, как он сохраняет тот порядок, в коем сообщает свою медитацию, т.е. строит композицию, обретающую форму, столь же строгую, как и сама медитация, и в его сообщении нет ничего, чего нельзя было бы с точностью объяснить, исходя из изначального волевого акта, — тогда он пребывает в *kyriolexia*; и,

окинув взором собственную композицию, – он встанет перед возможностью двух вариантов. – Либо он испытает удовлетворение от того, что педантично придерживался предмета, либо эта педантичность покажется ему жалкой. Это последнее суждение основывается на различиях в том, что составляет содержание свободной игры, ибо будь она пустой, не имеющей ни малейшего отношения к определенной медитации, то и ему незачем было бы упрекать себя в том, что он отказался от нее. Волевой акт должен был обладать некой притягательной силой, коей он не хотел просто так поступиться. Там, где, наоборот, поощряется строгость, различие присуще самому изначальному волевому акту, нечто должно соприсутствовать в его предварительном намерении, но определенная форма сообщения от одного отказалась, а другое допустила или даже потребовала. Где мы находим подобное, там мы можем предположить такое свойство свободной игры, равно как и совокупного запаса представлений, в коем бы содержались элементы, способные вступить в связь с самим предметом.

С другой стороны, такое, происходящее в изначальном волевом акте *осознанное* рассеяние, благотворно возбуждает игру представлений, вовлекая в нее все родственное ей. Подобно тому, как мы различаем многообразные элементы, что, собственно, только и возможно после того, как мы решили первую задачу (ибо, если я не обнаружил единства, то не сумею и отличить существенные элементы от случайных), и встает задача понять их возникновение, то она основывается на знании тайного запаса представлений и на том, каким образом мы, исходя из себя и своей собственной композиции, придем к заключению об авторе и его композиции. Если мы обладаем настолько полным знанием писателя, что знаем его как себя самих, то у нас появится совершенно

иной масштаб, нежели при отсутствии этих знаний; в первом случае мы ставим своей задачей не только узнать второстепенные мысли автора, но также и то, что и по какой причине он отбросил. Мы сможем определить это на основании аналогии, проведенной между ним и нами, элементами которой явятся наши знания.

Чем больше у нас сочинений автора, сущностью содержания которых является свободный поток мышления, тем легче приобрести упомянутое знание о нем. При этом, в первую очередь, рассмотрим сознание писателя в отношении к тем, для кого он пишет. Если бы в письме содержалось нечто, что лежит вне определенного круга, то подобное могло произойти либо по ошибке, либо необдуманно. В этом случае необходимо учесть сиюминутное состояние, конкретные обстоятельства жизни писателя. Ибо у всякого, кому приходится в различных обстоятельствах заниматься одним и тем же предметом, главные мысли будут одни и те же, но второстепенные будут весьма различаться. Это как раз тот самый случай, когда можно догадаться о состоянии пишущего только благодаря приходящим мыслям. Здесь много такого, что превышает возможности составленных правил. Вообще справедливо правило, что, чем больше кто-то наблюдал в себе и других за деятельностью по созданию представлений, тем выше его герменевтический талант для этой стороны.

Чем сложнее герменевтическая задача, тем больше ее решение требует совместной работы; чем меньше необходимых условий, тем теснее должны объединиться индивидуальные направления для ее решения.

Что касается Н.З., то исторические книги, в том виде, в каком таковые дошли до нас, не дают никакого повода для подобного вмешательства второстепенных мыслей. (...)

Если мы рассмотрим дело в тесной связи с проведенным исследованием, то тотчас станет абсолютно очевидным, что там, где существует весьма небогатая, но завоевавшая весьма широкую популярность литература, ставшая общим достоянием писателя и его читателей, совершенно естественно, что там она разнообразно используется. Гомер был для греков тем, чем для иудеев – В.З. И Гомера использовали разнообразно, толкуя как и В.З. – аллегорически. Аналогия здесь бесспорна. Дело в общих чертах можно представить так. Разговор приобретает особую прелесть, если два человека, толкуя новость о чем, достигают общей и равно знакомой области, на которую они ссылаются везде, где только возможно. Текст такого рода принимает характер разговора, ибо второстепенные мысли всегда черпаются только из области, общей писателю и читателям, а именно из такой, о коей писатель может предположить, что она так же легко воссоздается читателями, как и им самим. Посторонним читателям, правда, второстепенные мысли такого рода могут показаться зачастую загадочными. Если таковыми они были и для первоначального читателя, то, пожалуй, следует высказать порицание автору, ибо вместо того, чтобы с помощью второстепенных мыслей вызывать новое волнение, поддерживающее неослабевающий интерес, он в данном случае ослабил его за счет трудностей, возникших на пути у читателя, и создал помехи внимательному прочтению последующего текста. Но предвидеть этого нельзя. Если подобное случается, то обычно потому, что в нашей литературе существует мало опосредующих звеньев между доверительным сообщением и тем, что обращено ко всей публике.

Предположить же следует, что появление второстепенных мыслей содействуют пониманию, а не препятствуют ему. – Если сравнить это с тем, что выше говорилось о

дигрессии, то можно составить простую общую формулу: Всякий текст двойственен; с одной стороны, это беседа, с другой, сообщение определенного, задуманного автором мыслительного ряда. Если мы помыслим последнее без первого, а первое приравняем к нулю, то отсюда последует, что писатель совершенно неопределим посредством соответствующих представлений читателя. Если таковое возможно, то мы должны признать, что нечто подобное вовсе не является настоящим текстом, ибо писатель писал его для себя. Но если некий текст представить как сообщение, то оно определяется и представлениями тех, кому этот текст адресован. Все, что в таком тексте носит диалогический характер, объясняется только общностью между писателем и читателем. Чем специфичнее читательский круг, тем выше обусловленность общностью, и тем более текст будет стремиться к форме доверительного сообщения. Если дидактические книги Н.З. были бы обращены к более поздним поколениям, что, собственно говоря, было бы для них нормальным, то это обращение исходило бы из указанной области; однако опыт показывает, что они остались в области, общей с читателем. Но в этом случае мы попадаем в узко ограниченный круг. Ибо в сравнении с областью преобладания христианской жизни все остальное для новозаветных писателей отступало на второй план. Так что и отдельные исключения в этой области также отступают на второй план. То есть в свободном сообщении некто более соотносится либо с тем, что его волнует в данный момент, либо с представлениями о тех, для кого он пишет. Если одна какая-то сторона преобладает, то вторая проявляется в ее деталях. Это чередование устроено не так-то просто, как во Втором послании к коринфянам; именно потому это послание так трудно толковать. (...)

Задача обнаружить истинную тенденцию во всех мыслях, считающихся второстепенными, исключительно трудна.

Однако она существенно облегчится, когда мы решим следующую герменевтическую задачу. Ведь если у нас имеется отчетливое представление о медитации и композиции писателя, то легко вынести уверенное суждение о том, что лежит за пределами и медитации, и композиции. Вне этих пределов находятся элементы, которые являются лишь изобразительными средствами, например, образное выражение, притча и т.д. Ведь если некто, находясь еще в стадии продумывания замысла, все еще вдаётся в детали и определяет порядок, в коем он желает сообщать свои мысли, то он не найдет упомянутые изобразительные средства в готовом виде; они обнаружатся только в процессе самого изложения, и, следовательно, лежат вне пределов композиции. Сложнее обстоит дело с медитацией; но в известном смысле сказанное справедливо и для нее. Она есть определенное продвижение замысла к сообщению, но такое, которое еще только косвенно связано с актом написания, при коем второстепенные мысли уже заняли бы свое место в ряду. Ибо все, что составляет второстепенную мысль, лежит за пределами таковой. Хотя и нельзя утверждать, что все второстепенные мысли возникли у автора только в процессе работы и обладали такой силой, что он вынужден был ими воспользоваться и не смог их отвергнуть. Они могли быть у него и ранее и повториться в нем во время работы. Но и тогда они лежат за пределами медитации. С помощью определения, которое отличает второстепенные мысли от тех, что произошли из волевого акта, и должен выясниться их настоящий смысл.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Здесь надлежит рассмотреть, как текст из живого первоначального замысла становится содержанием и формой и как он, будучи неким целым, этот замысел в дальнейшем развивает¹⁶. Все элементы текста, которые рассматриваются как зависимые от него, составляют предмет технического толкования. Оно отличается от грамматического тем, что с грамматической стороны индивид является местом, в котором оживает язык, а с технической стороны о языке речь непосредственно не идет.

Но то, что мы рассматриваем как развитие первоначального замысла, все же должно стать языковой формой. Здесь язык выступает как живое деяние индивида, его воля создала в нем единичное, сила психологического факта сопоставляет элементы, доселе не соединимые. Воздействие индивида на язык ведет к логическому расширению и сокращению языковых элементов. Если мы рассмотрим *возникновение* композиции, то здесь дело обстоит несколько иначе. Здесь действуют общие законы порядка в мышлении. Но прежде я должен понять писателя все-таки и в его медитации. Однако это задача, предмет которой почти невидим и основан, казалось бы, только на догадке. Мы можем легко определить, что данные мысли, пожалуй, относятся к делу, и нам останется только взглянуть, в каком порядке они расположены. Но определить, что и как автор мыслил о том или ином предмете весьма затруднительно, ибо всякий предмет можно рассматривать по-разному. Здесь мы вступаем в невидимую область медитации, в которой важно знать, что было

отвергнуто писателем, несмотря на то, что следовало из главной мысли. Каждый текст имеет самобытный генетический ряд, в котором существует изначальный порядок мышления отдельных мыслей. Но порядок сообщения может быть иным. Здесь мы приходим к различению медитации и композиции. То, что различие между обоими изменчиво, вытекает из первого волевого акта. Он, будучи рассмотрен как некий момент, может заключать в себе больший или меньший объем. Он может обладать такой жизненностью, что уже содержит в сознании целое в его основных чертах. Чем жизненность больше, тем меньше различаются медитация и композиция; чем меньше данный волевой акт имеет означенный характер, тем большим становится различие. Однако кажется, будто различие вообще относится только к некоторым формам. А какова роль медитации по отношению к истории? Этимологически это выражение указывает на внутреннее мыслительное развитие.

Следовательно, там, где содержанием, как в истории, является внешнее восприятие, кажется, что у медитации совершенно отсутствует предмет. Однако это лишь кажимость. Хотя различие медитации и композиции в разных областях проявляется по-разному, но медитация все же нигде не равна нулю, даже в историческом описании. Если мы вернемся к импульсу, то увидим, что волевой акт может быть дан только в форме мысли. Импульс, который в самом субъекте не существует в форме мысли, не является волевым актом, а есть простое проявление инстинкта. В понятии мысли мы различаем следующее: Поскольку в нем преобладает единичное, он тяготеет к образу, а поскольку всеобщее – к формуле. И то и другое является односторонним. Вершиной является взаимопроникновение обоих друг в друга. Однако противоположность должна изначально содержать-

ся в каждом волевом акте. Но спрашивается, определяется ли он предметом или не зависит от него? Не зависит. Чем больше изначальный волевой акт дан как образ, тем больше он несет в себе индивидуального, словно в уменьшенном масштабе, но тем меньше поэтому композиционного; все его развитие составляет как бы внешнюю сторону того, что в оном замысле созерцалась внутренне. Но чем больше первоначальный волевой акт есть формула, тем меньше он несет в себе единичного, но тогда уже тем больше композиционного. Так оба акта положены уже в первом моменте.

Если мы посмотрим на различные направления возможного развития мысли, то обнаружим в них двойственность, состоящую в том, что, если в импульсе есть направленность на образ, то чем объективнее развивается мысль, тем ближе положенное в первом замысле к единичному, которое выступит как мысль, но чем оно субъективнее, тем больше положенное в замысле приближается к оттенку и различными его модификациями, внутри коих движется целое. Но в том случае, когда импульс приближается к формуле, он в основном выражает отношения, и поскольку таковые попадают в изложение в виде системы, то содержит скорее начатки композиции, а не единичности содержания. Но одно должно стремиться к другому, так что из композиции мы узнаем единичные содержания, и когда индивидуальность, все более раскрываясь, достигнет полноты своей данности, вместе с ней будет дана и композиция.

Но как это соотносится с различием медитации и композиции? Основной принцип состоял в том, что сначала из импульса схватывается единичное, а затем — правильное расположение, исходя из которого, исключается все то, что ему не соответствует. Но если возможно, что первый им-

пульс содержит больше от композиции, то следовало бы отправиться и обратным путем. Но как? Если у нас есть всеобщее, однако реальное понятие, то уже в нем мы с легкостью всегда обнаружим намек на дальнейшее деление. Но если бы мы сказали, что путем простого деления можно добраться до индивидуального, то это было бы ложью, так мы установили бы только тип. Следовательно, исходя из общей формулы целого, хотя и можно мыслить некое внутреннее развитие композиции, но единичное таким способом никак не обнаружить. Если для начала отвлечься от субъективного направления в первом импульсе, которое предполагает наличие специфического таланта, и держаться более общего, распространенного, то можно воспринять количественное различие между деятельностью, посредством которой изначальный замысел, раскрываясь, приближается к своему содержанию, и той, посредством которой содержание получает свою форму. Если субъективное мы снова прием за подчиненное, то сможем сказать, что в первом раскрытии единичного, именуемом нами медитацией, есть такое поступательное движение, в котором преобладает подчинение всеобщему, и такое, в котором преобладает непосредственное создание единичного. Тогда первое всегда будет определять одновременно форму, и становление единичного будет чередоваться со становлением формы. Единичное обнаруживается только в связи со своим местом. Напротив, единичное содержание, которое носит только характер единичного, обнаруживается само по себе, и с ним возможны потом разнообразные сопоставления. Целое меняется в зависимости от того, как его понимать, т.е. либо более формально, либо более содержательно. Следовательно, мы сможем в совершенстве понять его только тогда, когда мы поймем генезис. Поэтому непрременной задачей является понимание всякого творчества, которое становится

предметом герменевтики, в указанном двойственном отношении.

Стоит предпочесть одно другому, и решение задачи будет несовершенным. При ее решении каждый, исходя из своих особенностей, безусловно, направит свои усилия либо на одно, либо на другое. Все мы желаем понять ход чужих мыслей по отношению к нашим собственным. Следствием может быть и приобщение, и отвержение. Поэтому вид герменевтической операции будет определяться развитием собственной мысли. Есть много людей, которые при чтении не придают значение форме, и следят только за содержанием. При этом возможен некорректный подход. Если я мыслю содержание обособленным от формы, то могу начать с чего угодно, ибо рассматриваю его как набор отдельных частей. Некоторые виды изложения выносят подобное обращение легче, чем другие. Однако есть читатели, для которых главной является форма. Ибо в тайне они надеются, что составят из формы, из отдельных ее точек целое в той мере, в какой таковое необходимо. Но в действительности, как только в желании понять начинает преобладать направленность на наши собственные мысли, возникает та или иная односторонность, а истинное, полное понимание становится невозможным. Однако, стремясь к полному пониманию, необходимо разорвать связи истолковываемого с собственными мыслями, ибо в намерения этой связи входит не понимание, но использование в качестве средства того, что в чужих мыслях имеет отношение к собственным. Все должно пониматься и толковаться, исходя из его собственных мыслей. Если оно того не стоит, то и решение герменевтической задачи не имеет никакого смысла.

Отношение мыслей другого к моим собственным, будучи герменевтическим, целиком на стороне грамматического

толкования. Здесь оно необходимо, ибо в грамматическом толковании отношение между мыслями другого и моими собственными концентрируется в языке. Но если задача состоит в том, чтобы в совершенстве понять чужую мысль как творчество, мы должны сами от себя освободиться.

Но для того, чтобы решить герменевтическую задачу в этом смысле, нужно, прежде всего, пытаться выявить отношение между авторской медитацией и композицией.

Начнем с общего обзора. Но как уяснить через него внутренний авторский процесс? С помощью наблюдения. Но таковое зиждется на самонаблюдении. Нужно самому быть искусственным в медитации и композиции, чтобы понять их у другого. С этой стороны весьма существенной подготовкой к более высоким штудиям в литературной гимнастике является собственное сочинительство.

На основании данных предпосылок спрашивается, как из второго акта, акта композиции, который дан мне в тексте, узнать, как этот акт развивался в авторе и стал содержанием и формой данного текста? Этот вопрос представляется весьма трудным. – Чем больше в некотором тексте содержание и форма растворяются друг в друге, тем меньше различие между медитацией и композицией. Это становится еще яснее, если предположить обратное, т.е. некий замысел, еще не осознающий свои содержательные детали с полной живостью. В этом случае эти содержательные детали раскроются лишь в результате поступательного воздействия элементов замысла, а сам он развивается через повторение. Но выше уже говорилось, что существует одна форма, которую мы считаем наиболее пассивной, когда развитие того, что заложено в замысле, препоручают обстоятельствам. Здесь возникают мысли, либо принадлежащие замыслу, либо случайные, возникшие в результате развития мысли, к каково-

му нас побуждают другие стороны. Но здесь возникает и различие, состоящее в том, что те самые мысли, которые содержались в изначальном импульсе, с большей легкостью позволяют облечь себя в определенную форму, а те, которые содержат в себе больше от случайного, с меньшей, и таковыми окажутся те, которые по форме являются только излишеством вследствие чужеродного элемента, прилепившегося к их генезису. Эти элементы легко поддаются различению, поскольку мы поняли и удерживаем в памяти главную мысль и ее существенное членение, а то и другое должно быть результатом обзора.

Но тут же следует учесть и различие формы, ибо в восприятии первого акта и в обобщении элементов посредством формы есть большая разница.

Существенным различием является различие между прозой и поэзией. Что касается поэзии, то в ней сразу видно, что сущностно относится к медитации, а что — к композиции, ибо они здесь полностью разобщены. Если мы представим стихотворение сравнительно большого объема, то невозможно предположить, что оно заранее целиком мыслилось в первом волевом акте. Мысли в первом волевом акте обозначены лишь пунктиром. В процессе создания композиции они перерабатываются. А потому именно композиция является актом не во временном, но только в непосредственном отношении. В прозе такого определенного различия нет. Здесь мы исходим из того, что уже в первом акте даны содержание и форма. Но форма здесь есть форма несвязанной речи. Таким образом, нет существенного препятствия тому, чтобы не единичные части целого, какими они мыслятся в начале, такими же были выведены и в конце. Размеренность и благозвучие не так тесно связаны с формой прозы, как размер в поэзии. Следовательно, резкое рас-

хождение результатов медитации и композиции составляет первое различие, возникающее, если мы8/ предположим сравнительно большой объем поэтического текста, в котором единичное обособляется. Но уже и в эпиграмме как самой малой поэтической форме нам следует признать такое. Эпиграмма всегда основана на данности. Но если под этим углом зрения мы представим себе процесс возникновения эпиграммы, то признаем, что поэтическая форма присуща ей не изначально. Если это так, то разрозненные сами по себе элементы предстанут только более сопряженными друг с другом. В современной форме эпиграммы главным является пуанта. А это и есть наиболее острое отношение к данности. Подобно молнии, она возникает моментально, есть внезапная мысль, не содержащая еще стихотворного размера. Оный есть уже второй акт. Стало быть, и здесь оба акта определенным образом расходятся.

Если от поэзии мы перейдем к прозе, то, чем ближе таковая к поэзии, тем заметнее расхождение обоих актов. Сие случается, если в прозе особое значение придается музыкальности языка. Тут мысль не может возникнуть одновременно со своим выражением.

Оно со своей музыкальной значимостью возникает, прежде всего, благодаря занимаемому месту, а само место выясняется лишь в композиции. Здесь перед нами нечто вроде ступенек. Если мы спросим, в какой области расхождение обоих актов минимально и для герменевтики неинтересно, то это – доклад, который чаще всего носит чисто научный характер. В нем музыкальное начало совершенно подчинено логическому. Чем более композиция присоединяет мысли без всякого иного интереса, тем более она составляет с ними изначальное единство, и, следовательно, различие между ней и медитацией равно нулю. Это различие состоит не в

том, чтобы выявить, в какой временной последовательности возникли отдельные мысли писателя. Это настолько ускользает в самой композиции, что только в редких единичных случаях удается что-либо выяснить на сей счет. Если, стало быть, имеется в виду не оно, а только различие, которое возникло относительно уже наличествующих элементов через композицию, то его в научной области ожидать едва ли приходится, ибо в ней нельзя изменить выражения, не изменив самой мысли.

Упомянутое составляет в то же время только одну сторону герменевтического интереса. Другая сторона приводит к совершенно иным различиям. А именно, если перед нами целый комплекс мыслей, то независимо от предмета, мы никогда не скажем, что исчерпали его в оном. Наоборот, всякому, кто находится в процессе действительного усвоения, приходят в голову мысли, которые принадлежат той же области, но их в ней не сыскать, или же те, которые противоречат мыслям, выраженным в тексте. Нам интересно узнать, были ли таковые у писателя вообще, или он сознательно от них отказался. Для достижения полного понимания, видимо, потребно знать обе вещи – и то, чего мне не хватает, и то, что в наших с писателем мыслях о предмете противоречит друг другу. Если писатель учитывает это, то в таком случае следует вернуться к сути самого различия. Если же не учитывает, то тогда возникает проблема, но и задача выяснить по возможности именно это.

Здесь мы заинтересованы в том, чтобы иметь наиболее полный обзор медитации писателя как таковой, включая и то, что не вошло в композицию. Возможно, что мысли, которых мне не достает, обдумывались писателем, но у него имелись основания не просто отвергнуть их, но и устранить возможность всякой с ними связи. Это может заключаться в первом волевом акте, например, если он

избегал полемики. Однако важно знать, продумывались ли писателем эти мысли или нет. Ибо в зависимости от этого его мыслительный комплекс получит иное значение. В последнем случае его ценность снизится, а в первом – интерес, связанный с проникновением в основания его метода, возрастет. Эта задача в равной мере и трудна, и интересна. Однако интерес здесь проявляется по-разному, хотя и в противоположном направлении. Чем сильнее мыслительный комплекс связан содержательно, тем больший интерес вызывает эта сторона, чем слабее, – тем меньший. Если мыслительный комплекс есть лишь набор деталей, то интерес совсем исчезает, а вопрос о том, какие еще мысли были у автора, и вовсе лежит за пределами герменевтической задачи. –

В синоптических Евангелиях отсутствует, например, история о воскрешении Лазаря. Как непосредственный повод к последней катастрофе, каким его представляет Иоанн, она имеет большое значение. Если мы представим, что первые три Евангелия хотели дать жизнеописание Христа, то вопрос стоит так: побудило ли их что-то исключить эту историю, или же она была им неизвестна? Однако поскольку эти жизнеописания, очевидно, представляли собой скорей всего только ряд отдельных рассказов, то вопрос теряет интерес для герменевтики и сохраняет его только для критики, а именно в том смысле, был ли рассказ настолько нераспространен, и почему случилось так, что он не вошел в общее предание. Таким образом, очевидно, что интерес к связному целому иной, нежели к несвязному.

Если обобщить сказанное, то мы обнаружим двойной интерес: ознакомиться с медитацией писателя в ее тотальности, обособленно от того, что вошло в композицию, и, с одной стороны, понять, как его способ изложения видоизменяется в результате воздействия композиции, а с другой

стороны, как весь процесс, развивающийся из первого волевого акта, соотносится с цельностью предмета.

Этот двойной интерес присутствует в различных видах композиции в весьма различной степени, но нет ни одной формы, для которой знание медитации писателя во всей ее целостности не имеет значения. Даже область истории не составляет исключения, хотя выражение медитация употребляется здесь не в самом узком смысле. И здесь мы вопрошаем о возникновении воспоминаний писателя о его предмете, о его выходе к заметкам о нем и об авторском замысле.

Однако решение означенной задачи имеет самобытное условие. Зачастую требуется много всего, чтобы задачу только поставить. Ведь если я спрашиваю, как авторская медитация соотносится с цельностью предмета, то заранее должен знать об этой цельности. Когда я впервые беру в руки книгу о каком-либо предмете, то подобный вопрос еще не может возникнуть; он возникнет только тогда, когда в познании предмета я достигну определенного уровня.

Что касается Н.З., то ситуация с самого начала изучения экзегетики такова, что мы привносим определенное знание о предмете и общее впечатление о нем. Однако именно это зачастую ведет к заблуждению и, следовательно, подлежит упорядочиванию.

Тут же возникает вопрос, как новозаветный писатель мог представлять себе предметы, которые у нас занимают особое место в христианском учении, и из какого целого заимствованы отдельные мысли? Если наш вопрос будет относиться к более позднему состоянию христианского учения, то мы подменим весь герменевтический процесс и окажемся на ложном пути.

Дидактические тексты являются более или менее фрагментарными. При этом не обойти задачу отыскания целого. Без него невозможно никакое истинное понимание. При рас-

смотрении единичного дидактического текста никакого содержания в него мы хотя и не привносим, но привносим все же представление о нем и отношение к таковому. Если же мы вслед за тем захотим утверждать, что писатель не мог иметь в виду те или иные предметы, а иначе сообщил бы о них, то подобное утверждение, будь оно высказано обоснованно, предполагало бы, что задача полностью решена.

Но ведь это неправда. Кроме того, пришлось бы тогда предположить, что предмет должен обязательно исчерпываться текстом. Задачу можно решить настолько, насколько мы располагаем тем, что могло быть в медитации автора, что, однако, предполагает достаточно точное знание о состоянии предмета во времена автора. Но какие условия для этого имеются в Н.З.? Эту проблему можно рассматривать по-разному. Если мы рассматриваем Н.З. как задачу, то нам известно, что иных текстов и заметок о состоянии предмета, относящихся к этому времени нет. Мы, стало быть, нуждаемся в самом Н.З. Но если, напротив, мы возьмем новозаветные книги по отдельности, то их совокупность явится средством, которое облегчит решение задачи для каждой отдельной книги. Форма решения задачи состоит в понимании части из целого, и только в той мере, в какой целое служит для понимания части, задачу и можно успешно решить.

Очевидно, что задача понимания медитации зависит от понимания композиции. Однако медитацию мы не напрасно поставили на первое место, ибо только благодаря полному знанию таковой мы поймем композицию генетически. Обратное относится лишь ко второстепенным мыслям, ибо они возникают лишь в композиции. Если у нас есть основание предположить, что не все существенное содержание, бывшее в моменте медитации, перенесено писателем в композицию, то произведение несовершенно. Но это подразумевает признание любой степени несовершенства.

Если мы посмотрим на различия в содержании и спросим, насколько возможны в разных жанрах какие бы то ни было правила и меры предосторожности для правильного решения задачи, то все сведется к двум пунктам: изменилась ли медитация в композиции и насколько, а также было ли в медитации нечто такое, что не вошло в композицию и в какой мере. Здесь следует начать с вопроса, насколько в психическом состоянии автора присутствовала определенная связность?

Она различна, но присутствует всегда, поскольку в изначальном импульсе некоторым образом даны содержание и форма. В своем единстве и полноте содержание определяется формой. Если одновременно определена и форма, то и у нее есть свои законы, и два человека, обсуждающие один и тот же философский предмет, один из них чисто дидактически, а другой в диалогической форме, связаны уже в силу одного различия друг с другом. Чем более прочная и живая форма присуща изначальному импульсу, тем меньше будут развиваться такие элементы, которые, хотя и относятся к содержанию, но не облекаются в форму. Диалогический доклад вбирает в себя элементы, которые другой, чисто дидактический, не может в себя вобрать. Если форма присуща изначальному импульсу достаточно живо, то несоответствующие мысли и не должны возникнуть у писателя. Если они у него возникают, а он вынужден от них избавляться, то это значит, что он еще не достиг высшей ступени мастерства. А оно заключается в максимальной связности через импульс. Но если писатель не чувствует того, что существенно относится к содержанию, то в этом состоит его несовершенство, вызванное недостатком жизненной силы, связывающей предмет и изначальный импульс, и этот писатель не полностью овладел своим предметом. Но как поступать в таком случае?

У толкователя должен быть собственный опыт внутреннего порядка развития мысли. Толкователь привносит таковой, пусть в качестве фона, и, сравнивая, пробует установить различия в этой области.

Если, исходя из этого, рассмотреть состояние медитации как таковое, то оно может либо полностью соответствовать изначальному импульсу, в котором предмет и форма образуют полное единство, поскольку таковое полагалось в изначальном импульсе, либо быть по отношению к таковому несовершенным. Как только несовершенство выявится в недостатках, его легко обнаружить. Например, скудость произведения заметна в разных формах по-разному. Если представить себе дидактическую форму, а автор повсюду начинает с расщепления первоначальной схемы, то возникающая сухость есть признак скудости.

У той части первоначального импульса, которая представляет содержание, не было настоящей жизни. Если автор, напротив, исходит из обработки чистой формы, то возникает клише¹⁷, композиция, в которой форма настолько преобладает, что в нее нельзя ввести ничего, кроме того, что возникает в результате дальнейшего деления. В этом проявляется полнейшая механичность, связанная с отсутствием живой, внутренней продуктивности. Если мы, напротив, находим множество элементов в композиции, которые, по сути, чужды оной, то медитация отличается пышностью, не означающей, однако, совершенства, ибо она разрушает форму. Это значит, что в первоначальном импульсе форма была недостаточно живой, ибо иначе автору все это не пришло бы в голову, а если бы и пришло, то было бы им отвергнуто.

Если мы посмотрим на такие виды сообщения, которые исходят более из восприятия, то историческое изложение обладает таким богатством собственно композиционного многообразия, что изначальный импульс представляется

весьма отличным от нее. У одного историческое изложение принимает форму образного ряда, а у другого выступает как ряд причинных отношений. В результате возникает совершенно различное содержание. В одном изложении подчеркивается то, чем другое пренебрегает, одно в большей степени имеет характер расчета, другое же – более живописно. В зависимости от того, что мыслится в изначальном импульсе, полностью меняются выдумка и медитация. Выдумка есть и в этой области и заключается в способе связи элементов, выделении того или иного. Тут существуют совершенно разные методы, равноправные друг другу. – Если некто пишет историю в виде ряда образов, но они не имеют характера настоящих образов, и читатель не в состоянии их воспроизвести, то отсюда следует, что автор не владел своей формой. А это в данной области означает скудость.

Рассмотрим форму беседы. Только в той мере, в какой умеют ее ценить, можно следовать медитации автора и понять, с трудом ли он выискивал элементы или, переполняемый внутренним творчеством, вынужден был от отказываться, а, кроме того, согласовано ли единичное с изначальным импульсом, или же в развитии мысли появилось нечто постороннее.

Если мы находим, что мысль развивается бурно, но никогда не выходит за пределы формы, и свободна от всяческих чужеродных элементов, то тогда медитация и композиция растворяются друг в друге, что в этой области является совершенством. А скудостью в этом случае будет продолжение операции логического деления. Здесь целым является лишь представление механизма медитации. Между этими полюсами располагается основной материал, который может стать предметом герменевтической операции. Если бы удалось проследить за медитацией и оценить ее, то пришлось бы знать все многообразие форм, ибо только тогда

можно было бы верно уяснить изобретение художника и воссоздать его. Если мы рассмотрим повседневную жизнь, то в беседе нередко бывает такая виртуозность, какую редко встретишь в тексте. Здесь часто предчувствуют, что хочет сказать собеседник, т.е. конструируют развертывание собственной мысли еще до того, как появится результат. Эта способность основана на точном знании самобытности другого в мыслительном процессе. Достижение оной составляет суть герменевтической задачи. Хотя возможно оно лишь окольным путем. Здесь, конечно, есть разница, знаем ли мы писателя в совокупности его жизни как историческое лицо или же имеем дело с продукцией современных писателей в привычном для них круге. В этом случае задача облегчается, ибо у нас есть прочная основа вне произведения. Но там, где ее нет, возникают трудности. В случае произведений древности знание индивидуальности писателя всегда ограничено. Но здесь есть большое различие между теми, что прижились в древности и теми, что не прижились. Те уяснили, если уж не личность автора, то тип мыслительного развития, на основе которого можно проводить аналогии. Если мы представим себе весьма продуктивного писателя, часть продуктов которого мы тщательно проштудировали и усвоили, то достигнем такого знания его самобытности, как будто прожили с ним целую жизнь.

В той мере, в какой внутреннее единство текста прозрачно, нетрудно воссоздать и медитацию.

Большая часть критической задачи состоит в различении того, что принадлежит самому писателю и того, что ему ошибочно приписывается. Здесь речь идет о воссоздании авторской медитации. Такт, на котором зиждется множество критических операций, образуется следующим образом. — Если, например, мы сравним диалоги, ложно приписывае-

мые Платону, с подлинными, то обнаружим, что первые, несмотря на диалогическую форму, отличаются сухостью, им не хватает собственной творческой силы, они тяготеют к простому логическому разделению, а в произведениях Платона всего этого вовсе нет. Здесь, следовательно, первым толчком к критическому исследованию является восприятие характера произведения.

Если же мы рассмотрим, что находится посередине между медитацией и композицией и может смыкаться то с одной, то с другой, то попадаем в область второстепенных мыслей. Если писатель распознал их в качестве таковых еще в момент их возникновения и отвел им определенное место, то они относятся к области медитации. А если нет, то они относятся к области композиции. Здесь можно различить две крайности. Первая заключается в том, что писатель, полагая, что он обладает совокупностью всех элементов, уже перешел к композиции и второстепенные мысли возникли в тот момент, когда текст уже был написан. В этом случае второстепенные мысли имеют характер вставок. Другая крайность состоит в том, что уже в начале процесса медитации писатель позволил себе не просто развивать изначальный импульс, но заняться свободной игрой мысли. В этом случае можно утверждать со всей определенностью, что второстепенные мысли принадлежат процессу медитации. В связи со сказанным, весь процесс медитации мы можем представить в двух формулах, первая из которых состоит в том, что мы мыслим писателя, строго соотнося его с импульсом, но по отношению ко всему прочему в отклоняющей деятельности, а вторая утверждает, что мы мыслим писателя, комбинаторная деятельность которого направлена на то, чтобы привносить иное в собственное течение мысли.

В зависимости от того, какая крайность преобладает, характер писателя будет различным.

С позиций герменевтической задачи невозможно рассматривать предмет изолированно. Предмет следует рассматривать, в первую очередь, на фоне общности литературной жизни народа и эпохи, далее способов построения композиции и, наконец, индивидуальных особенностей отдельного писателя. В этом состоит сравнительный метод. Возможно применение и обратного – эвристического. В соответствии с ним мы познаем одну литературную область только потому, что провели герменевтическую операцию во многих других. Первый метод основан на личных отношениях между читателем и писателем. Если возникает личностное отношение внутреннего родства между читателем и писателем, например, в случае с любимым писателем, то предпочтение, разумеется, будет отдано сравнительному методу. Так что и метод по отношению к любому писателю будет у каждого свой. Было бы несправедливо, легко проникая в мир автора, останавливаться и желать такого знания, что дается только эвристически.

Если мы теперь перейдем к последнему пункту, рассмотрению самой *композиции*, то при этом предположим, что писатель полностью раскрыл тот внутренний импульс, который преобладает во всем произведении, что он собрал все элементы к тексту и вот приступает к композиции.

Однако каждый осознает, что подобное совершенство бывает не всегда, когда речь заходит о повседневной жизни. При написании письма не различают импульс, развитие и композицию, а множество переходов соединяют воедино. Но чем искуснее произведение, тем больше приходится считаться с указанной предпосылкой. Что возникло только в композиции, относится к исследованию в той мере, в какой

необходимо воссоздание целого. Если пытаются в соответствии с указанной предпосылкой воссоздать текст, то смысл у этого разный.

Хоть и нет мысли вне слова, но мера воплощенности мысли различна, мы можем уже иметь мысль, но еще не иметь самого подходящего выражения для нее. Что касается выражения, то элементы получают готовую форму только в композиции. Таковую можно понять, лишь окинув взглядом отношение содержания, которое получает вид посредством формы или же придается ей. От этого зависит богатство и полнота. Так что следует рассматривать оба пункта, место, которое занимает каждая часть, наполненность формы содержанием и, наконец, выражение, которое становится четко определенным в совокупности элементов.

Задача особенно важна для экзегезы Н.З. (...)

Что касается (эпистолярной) формы, которая в меньшей степени обладает определенным единством, то мы должны обратить внимание на то, что некто пишет, соотносясь, либо со своим окружением, либо с окружением тех, для кого он пишет. Последнее проявится посредством некоторой определенности в отношениях, в первом случае некоторая неопределенность лежит в самой природе вещи. Ибо, если я, исходя из моего личного опыта, кому-то что-то советую, то такие советы могут иметь только характер неопределенности. А то, что говорится с опорой на чужой опыт, более соотносится с ним и, следовательно, является более определенным. В этом можно убедиться только через сравнение единичного, но не через структуру, посредством которой больше единства находят в дидактических письмах.

Тут мы подошли к проблеме, которую порой очень легко, а порой весьма трудно обнаружить, но она важна всегда, это – интонация, настроение пишущего. Знание этого на-

строения существенно для того, чтобы понять мыслительный ряд как факт духа. У двух писателей может быть одна и та же дидактическая тенденция, предмет может быть одним и тем же, способ восприятия, образ мыслей, стиль бывают также тождественны, но интонация у одного более спокойная, а у другого более взволнованная. В соответствии с этим изменяется и единичное, оно имеет иное значение.

Эта инаковость особенно проявляется в работе с языком. Но нельзя сформулировать на сей счет определенных правил, именно потому, что здесь главную роль играет чувство. Если взять случай объективного единства в эпистолярном изложении, сочетающегося со спокойным тоном, то у разных авторов могут возникнуть серьезные различия; язык одного музыкален, у другого же – либо вовсе нет, либо в меньшей степени, и обсуждаемая проблема не затрагивается. Есть люди, которые, придя в возбуждение, остроумны и красноречивы, как никогда, а это влияет на музыкальность. Другие в таком состоянии утрачивают чувство гармонии. Следовательно, характерное – не в этом. Но в чем же оно проявляет себя и как? Трудно определить, что один и тот же автор написал, будучи в том или ином состоянии. Истину можно установить только в сравнении. Но может статься, что подобное сравнение непосредственно провести не удастся. Тогда, как и в случае с грамматической стороной, нужно искать параллели. В способе выражать свои мысли присутствует известная доля индивидуального и личного, но, с другой стороны, здесь широкий простор для аналогий. Если таковые найдены, то тем самым найдены и параллели. На основании родственных и соотносимых отрывков я могу делать выводы. Если после обзора текста возникает чувство, что он обладает интонационным единством, то вывод будет более легким и уверенным. Если это единство удер-

жать не удастся, то часто возникают разногласия в оценке отдельных мест, относительно которых нельзя вынести общих суждений. Иногда настроения определяются склонностью к преувеличению. Общеизвестно, что такие гиперболы понимаются через количественные различия, к которым относятся настроения. Вне контекста и без учета интонации, с которой их произносят, они покажутся неуместными и невыносимыми. Они понимаются только в контексте и с учетом интонации. Сложнее, если настроение в тексте меняется. Если мы спросим, откуда берется подобная смена, то особенно по отношению к дидактическим текстам Н.З. два случая ясно выступают для нас в качестве основополагающих различий.

Если автор соотносился более со своим состоянием, и текст написан не на одном дыхании, то он, вероятно, писал, пребывая в разных настроениях, если его состояния в то время менялись, о чем ему не нужно было упоминать, ибо они не относились к предметам, о которых шла речь. Так легко возникало неравенство. Когда автор пишет, непосредственно наблюдая жизнь тех, о ком он повествует, различие в интонации легко установить, если те, о которых он пишет, составляют большинство, в котором есть неравенство. В этом случае его речь, адресованная то тому, то другому, легко меняет свою интонацию. У нас есть Послания апостола Павла, которые он написал, находясь в заключении. Возможно, что он тогда так был занят с другими, что не мог непрерывно писать. В судебном процессе, который вел тогда Павел, легко могли возникать изменения, которые отвлекали его, меняли его настроение; не было причины упоминать о них, но следствия этого проявляются в Послании. И здесь можно, наблюдая подобные случаи, сделать вывод о том, что прерванный контекст указывает на предыдущее

изменение. Это пример одного рода. Примером другого рода служат Послания к коринфянам. Сразу видно, что в общине были определенные разделения, которые касались и самого апостола. Если апостол упоминает о том, что связано с ними, то интонация, разумеется, иная; если же он заводит речь о порядках, которые нуждаются в назидании, то его тон, конечно, меняется; а если он занят дидактикой, то происходит новая смена настроения. Уверенность при решении герменевтической задачи зависит от того, насколько нам известны сами обстоятельства.

Если мы представим всю задачу в ее отдельных частях и взвесим, чего нам не хватает при изучении Н.З. из того, что мы всегда должны предполагать, и насколько мы далеки от того, чтобы сравняться с первыми читателями, то поймем, почему в истолковании единичного еще так много непреодолимых расхождений.

Если мы вернемся к двойственности, которую мы установили вначале и состоящую в том, что, с одной стороны, целое понимается только из единичного, а, с другой, единичное – только из целого, поскольку последнее исходит из единства импульса, на коем зиждется, хотя и в разной степени, все единичное, – то, приняв это, трудно поверить в то, что экзегеза Н.З. когда-нибудь завершится, и ее результаты будут выглядеть столь основательно, что отпадет необходимость в проведении дальнейших исследований. В ситуации, когда в отношении к некоторым главным пунктам нельзя ничего изменить – ибо более точные сведения о тогдашнем положении и обстоятельствах жизни автора нам едва ли удастся раздобыть, – мы видим, как важно рассматривать в Н.З. целое как единое, а все частное – как особенное. Целое образует определенный самобытный мир. Кроме Н.З. у нас нет иных документов о жизни христиан того времени. В

случае ссылок в нехристианских текстах мы должны сначала спросить, через какую призму смотрел автор. Что касается апокрифических текстов, то их эпоха обычно неизвестна, ни об одном нельзя с уверенностью говорить, что оно представляет новозаветные времена. Правда, у церковных писателей встречаются упоминания о новозаветной эпохе, но можно ли им доверять? Здесь мы, например, находим упоминание о втором римском пленении апостола Павла. Одни усматривают здесь определенное историческое событие, другие – просто традицию, которая, первоначально являясь экзегетической конъектурой, постепенно была принята за реальный факт. Можно сказать, что христианские писатели, у которых есть упоминание об этом, исходили из представления, что все единичное вложено в новозаветные тексты Святым Духом, и что все, о чем они повествуют, должно сбыться. Так, полагали, что Павел побывал в Испании, согласно Римл. 15, 24. Если мы находим, что свидетельство о втором пленении всегда согласуется с известием о путешествии апостола в Испанию, то это отсылает к Римл. 15, 24, и весь рассказ, вероятно, основывается на этом.

В зависимости от взгляда на вещи Послания Павла, которые могут относиться к этому месту, разумеется, будут иметь иную экзегезу. Так, некто¹⁸ недавно даже сформулировал критический канон, согласно которому все написанное Павлом, что исторически не согласуется с Деяниями апостолов или явно относится к иному времени, попадает на период после первого пленения. Тем самым устанавливается совершенно иной порядок Посланий Павла, наиболее поздние становятся наиболее ранними и т.д. Отсюда видно, что экзегеза зиждется на критике, но и герменевтическое искусство, в свою очередь, должно служить основой этой критики.

Если целое следует понимать из частей, а части из целого, то возникает отношение взаимозависимости. Если при решении этой задачи мы будем руководствоваться все теми же герменевтическими принципами, но исходить из разных предпосылок, то придем к разному результату. Тождество результатов указывает на тождество предпосылок. Конечно, можно сказать, что правильность результатов зависит исключительно от применения правильных герменевтических принципов, но ведь, с другой стороны, часто только правильные результаты определяют, какая предпосылка была верна, ибо благодаря ей и был получен результат.

Если раздробить задачу, то правила для Н.З. окажутся весьма трудными. Нужно представлять себе все различия, а именно, по отношению ко всякому единичному знать все предпосылки, конкурирующие между собой. Необходимо делать исходной каждую из них, соблюдая при этом большую осторожность. Результат, который при наличии разных предпосылок, наиболее согласуется с непосредственной связностью текста, и будет правильным. Но без такой проверки нельзя утверждать, что твердо стоишь на ногах.

Что касается дидактических текстов, то в них, наряду с тем, что сказал писатель, надобно прояснять факты, с которыми соотносится сказанное. Следовательно, и это показывает, что до решения задачи исторической критики задачу герменевтическую с уверенностью решить невозможно. (...)

Если мы окинем взором всю область новозаветной герменевтики, как много в ней еще предстоит сделать и как мало шансов у этой книги выйти за пределы выше указанной узкой области, то останется только сожалеть, что еще недавно столько времени, усилий и остроумия растрачивалось впустую. Новейшие труды, однако, образуют полезный противовес ложному применению книги. Но и тут разница

воззрений относительно произвольности гипотез не слишком велика. (...)

Если мы рассмотрим герменевтическую задачу в ее прочих связях с исторической критикой, то увидим, что здесь еще так много работы, что воистину незачем выходить за пределы собственно канонического.

Спросим [в заключение], как, исходя из настоящего момента, заниматься новозаветной герменевтикой, чтобы по отношению к обеим сторонам соответствовать ожиданиям, которые она должна, но полностью не может исполнить, ибо ей не хватает необходимых предпосылок? Всегда следует соединять противоположные направления друг с другом.

Во-первых, всякая новая книга, будучи рассмотрена отдельно в соответствии с общим канонам, пытается понять и объяснить целое из части. Точного результата нам не достигнуть, пока оба направления не будут соблюдены в нем. Это предполагает постоянную рекапитуляцию. Вначале — всегда общий обзор, посредством которого созерцается цельность, выводится структура целого и его определенная формула. Если обзор приводит к темнотам, которые, очевидно, содержат главные элементы конструкции, то существует опасность, что нам не достичь никакого удовлетворительного результата. Для новозаветных книг этот случай усугубляется еще и тем, что в темных местах слишком серьезные уступки делались более поздней их трактовке, которая не учитывала контекст. А там главное правило состоит в том, чтобы устранить все, что происходит из предбогословского периода жизни. Это облегчается как раз тем, что в основании внеконтекстного способа анализа отдельных мест в их догматической авторитетности лежит, как правило, церковный перевод, в то время как герменевтический анализ может иметь предметом только оригинал.

Тогда подобные воззрения отступают на второй план, и применение мер предосторожности тем самым в некоторой степени облегчается. Если в каком-то тексте тому месту, которое содержит ключ к целому, присуща затемненность, не вызванная указанными помехами, то перед нами как раз наиболее трудный случай, ибо нелегко найти метод, при помощи которого можно разгадать эту загадку. Но такая предпосылка делает положение безвыходным. Наличие подобных мест предполагает у писателя столь великое неумение обращаться с языком, что ему вовсе не следовало бы браться за перо.

Здесь нужно обратить внимание на одно распространенное явление. Считается, что, за исключением Павла, новозаветные писатели были литературно необразованными людьми. Это утверждение часто доводят до того, что говорят, будто они вовсе не умели пользоваться языком, чтобы ясно выражать свои мысли. Когда экзегет опровергает толкования, отражающие чей-то частный интерес и утверждает, что нельзя предполагать, чтобы кто-то писал так, излагая собственное мнение и т.п., то часто возражают, что для новозаветного писателя такой стиль слишком искусен. Однако если тем самым захотят обречь этих писателей на любой произвол, то в этом абсолютно ложное применение в принципе бесспорного факта, что они литературно не были образованы. Если эти писатели принадлежат к отряду провозвестников Евангелия, если они внутренне были исполнены его принципов и были именно теми, благодаря кому христианство заняло подобающее место в мире, то можно быть о них и лучшего мнения. Хотя здесь следует принять во внимание и следующее обстоятельство. Можно сказать, что указанные темноты происходят не вследствие неумения мыслить и выражать свои мысли посредством языка, но вследствие необ-

ходимости говорить по-гречески, а греческий язык не был для них родным; в необходимости переходить на другой, иностранный язык, кроется истинная причина их неспособности.

Однако ни одному новозаветному писателю не пришлось писать по-гречески, прежде не говоря на нем. Можно даже предположить, что учительствующим апостолам и в самом Иерусалиме приходилось чаще говорить на греческом языке. Таким образом, устраняется само основание для произвольного толкования. На риторическую изощренность они, пожалуй, не претендуют, но, во всяком случае, претендуют на предполагаемую в каждом человеке естественную способность вразумительно выражать свои мысли на часто употребляемом, хотя и неродном языке.

Хотя бывает и так, что смысл новозаветного текста в главных местах непреодолимо темен. Но такое случается с нами только тогда, когда именно дидактические книги имеют в виду неизвестные нам обстоятельства жизни пишущего или его адресата. В этом случае задача состоит в том, чтобы посредством герменевтического анализа прояснить соответствующее место в единичном и пролить свет на существующие обстоятельства. До тех пор, пока не найдено объяснение, проясняющее целое, герменевтический анализ ненадежен.

Второе, что объединяет противоположные направления в указанном универсальном каноне, состоит в том, чтобы переходить от общего созерцания целого к единичному, а от общего созерцания возвращаться к общему устройству текста. Но это подразумевает выход за пределы отдельного текста в область исторической критики и ее гипотетический фундамент.

Третье, содержащееся в каноне, состоит в том, что Н.З. есть собрание разных текстов. Здесь два направления. Все

собрание есть, во-первых, творение вступившей в историю новой этической силы, а, во-вторых, все единичное есть отдельное целое, возникшее в результате особых отношений и ситуаций. Здесь, очевидно, все остальное относится к одному тексту как естественная область, из которой берутся параллели для единичной герменевтической задачи.

Но, с другой стороны, нельзя не увидеть задачу, состоящую в том, что, если мы объясним себе основные факты в одном тексте, то результаты операции относительно всех новозаветных текстов также должны совпасть, явив единый образ христианства того времени, ибо из него вышло все целое. Без такой проверки у нас не будет уверенности. Но как раз этим еще очень часто пренебрегают. Например, гипотеза о так называемом Первоевангелии есть результат таких отсылов. А именно, сопоставили многочисленные места из Евангелий, согласующиеся между собой и спросили, как же могло возникнуть такое совпадение. Однако сам принцип, положенный во главу угла, слишком механичен, абстрактен и беден. Говорят, то, что в Евангелиях совпадает, будто бы более раннее, а то, что свойственно каждому в отдельности – более позднее. Более раннее составляет набор весьма скудных подробностей, Первоевангелие, которое, как полагают, составлено провозвестниками Евангелия в качестве схемы и расширилось каждым учителем по-своему. Если подвергнуть эту гипотезу проверке, то сначала можно обнаружить, что Евангелие от Иоанна в эту схему не вписывается. А ведь апостол Иоанн должен был бы выразить свое согласие с ней. Но основополагающая идея его Евангелия совершенно иная. Стало быть, авторство этого апостола для такого Первоевангелия уже невозможно. Далее, если мы спросим, к какому периоду времени могло относиться данное деяние апостолов, то, по крайней мере, в

книге Деяний апостолов нам не найти ничего такого, что свидетельствовало бы о возможности подобного деяния, о нем ничего не говорится даже тогда, когда у Луки был бы повод рассказать об этом. – Так все гипотезы, построенные на отдельных подробностях, разрушаются о то целое, которое образует их основу, как только целое созерцается в единстве.

Что касается дидактических текстов, то здесь следует принять во внимание еще один пункт, который является источником больших трудностей и должен поэтому всегда учитываться при толковании. А именно, что письменное сообщение в то время целиком и полностью было вторичным.

Как правило, тексты предназначаются только для тех, с кем уже общались устно. Не только написанные Павлом, но и соборные послания предполагают устное возвещение Евангелия, и в той форме, в какой оно велось некоторыми, неизвестными людьми. Поскольку изначально существовала некая общность, то всякий мог, не страшась, что его или не поймут вообще, или поймут неправильно, на нее ссылаться. Но для нас это оборачивается затемненностью смысла. Повсюду, где мы наталкиваемся на темные места, следует предполагать такое примитивное возвещение и, исходя из этого, делать заключение.

Итак, следует всегда соединять противоположные направления, возможно, в меньшей степени в профанных текстах, но всегда и везде в Новом Завете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ¹⁹

Если герменевтическую задачу можно полностью решить, только связав грамматику с диалектикой, учение об искусстве со специальной антропологией, то, стало быть, в герменевтике есть мощный стимул для соединения спекулятивного с эмпирическим и историческим. Следовательно, чем больше стоящая перед поколением герменевтическая задача, тем более мощным рычагом такого рода она становится. Кроме того, внимательное рассмотрение истории учит, что со времени возрождения наук занятие истолкованием вносило тем больший и разносторонний вклад в духовное развитие, чем более оно вникало в научные принципы.

Но если герменевтическому искусству суждено быть столь действенным, важно, чтобы сохранялся истинный интерес к тому, что передается посредством речи и текста. Интерес может быть разнообразным, но мы различаем в нем три ступени.

Первая ступень – это исторический интерес. Останавливаются на выявлении единичных фактов. Они могут содержать много научных данных. Например, кто-то читает древних с естественнонаучной точки зрения. Ни языковой, ни психологический контекст при этом не затрагивается. На этой самой низкой ступени толкование совпадает с общечеловеческим.

Вторая ступень – это художественный интерес или вкус. Она выше, чем первая, ибо на нее поднимаются не народные массы, а только образованные люди. Занятия такого рода ведут уже дальше. Изложение посредством языка придает

прелесть и побуждает к изучению языка и художественных творений. Учение об искусстве особенно возбуждается вкусом к произведениям древности.

Третья ступень – это спекулятивный, т.е. чисто научный и религиозный интерес. Я уравниваю оба, ибо оба они происходят от высшего в человеческом духе. Научный интерес схватывает вещь в ее глубинной сущности. Без языка мы не можем мыслить. А мышление есть основа всех прочих функций духа; благодаря тому, что мы мыслим словесно, мы и достигаем определенного уровня сознательности и намеренности. Познание того, как человек создает и использует язык, имеет высочайший научный интерес. Высший научный интерес имеет и познание человека как явления из человека как идеи. И то и другое тесно связано, ибо именно язык ведет и сопровождает человека в его развитии. – Если интерес, связанный со вкусом, схватывает задачу глубже, то подобающим образом она разрешима только посредством научного интереса. Однако до спекулятивного интереса подымается еще меньшая часть, нежели та, что обладает вкусом. Но эта разница, в свою очередь, выравнивается интересом религиозным, ибо он присущ всем. На нижней ступени религиозное сознание еще не пробудилось. Чем скорее оно пробуждается и распространяется, тем скорее пробуждается сам человек. Ныне оно присуще всем и ощущается как нечто всеобщее. Но известить о нем можно только с помощью языка. Мы видим, что человек ясно осознает свой высший интерес только в той мере, в какой он овладел языковым общением. Итак, всякое нормальное выражение религиозного начала, являющееся своего рода священным текстом, должно внести свой вклад в превращение этой задачи во всеобщую.

Правда, есть религии, имеющие собственные священные тексты, которые существуют, не вызывая всеобщего интереса в широких массах. В самой Христианской Церкви римско-католическая партия составляет исключение. Даже если по сравнению с целым объектом всей задачи Христианской Церкви герменевтика новозаветного текста покажется весьма второстепенной, и некоторые проблемы не удастся окончательно решить вследствие самобытности языка и объема материала, то, с другой стороны, есть общий интерес, связанный с герменевтической задачей, и мы с уверенностью скажем, что если бы общий религиозный интерес пропал, то утратился бы и герменевтический. Наше мнение об отношении христианства ко всему человеческому роду и духовная ясность, с которой оно было раскрыто евангелической церковью, являются тому залогом. Безусловно, нельзя разрешить задачу в этой области также полно, как в области классической литературы. Но из-за этого наш интерес к ней не должен ослабевать. Хотя нам и не прийти к полному пониманию всей индивидуальной самобытности новозаветных писателей, но вершина нашей задачи достижима, она состоит во все более полном постижении в них соборной жизни, бытия и Духа Христова.

Примечания

Эта часть рукописного наследия разработана не так подробно, как первая. В ней отсутствует главным образом определенное применение общих герменевтических основоположений к Н.Э. Нам кажется, что и здесь более целесообразно сначала целиком привести последний, составленный Шлейермахером, доклад и вслед за ним отрывок лекции 1832 г. с использованием примечаний, сделанных им на полях своей тетради.

2. В своем рукописном наследии Шлейермахер называет эту часть *техническим толкованием*, несмотря на то, что во вступлении другую сторону истолкования он регулярно именовал *психологической*. В лекции 1832 г. он называет, однако, эту сторону психологической, но различает в ней двойную задачу, *чисто психологическую* и *техническую*. Этому соответствует пометка на полях 1832 г. У нас тем больше оснований следовать здесь этому различению и обозначению, поскольку оно отражает не только последние воззрения Шлейермахера, но и, как покажет дальнейшее развитие, служит действительно более глубокому обоснованию и подробному изводу этой стороны герменевтики.

3. Это адвербиальное дополнение, которое все придаточное предложение представляет подобием, обычно отсутствует в многочисленных цитациях этого места в литературе о Шлейермахере. Оно подтверждено в рукописи. (ср.ГК 109) [М.Фр.]

4. Киммерле читает «фанатично» (ГК 109)

5. По Киммерле (l.c.)

6. Я вставляю в этом месте рукописный набросок Шлейермахера, содержащий одно из его самых важных высказываний на тему *Техническое толкование* и не напечатанный Люке. Предложение о датировке поступило от Херманна Патча. [М.Фр.]

7. *Die*[*steht* в манускр. [Прим. Киммерле]

8. Киммерле читает «переход»

9. Предмет корр. из составная часть. [Прим. Киммерле]
10. Die[стоит в манускр. [Прим. Киммерле]
11. Так условно расшифровывает Киммерле. [М.Фр.]
12. Die [стоит в манускр. [Прим. Киммерле]
13. В манускрипте für aus
14. Die[стоит в манускр. [Прим. Киммерле]
15. Из лекции 1832г.
16. Ср. сс.148—155
17. От греч. chreia = употребление, риторическое (текстовое) выправление предложения по [М.Фр.] строго заданной формальной схеме.
18. Кёлер, Трактат о времени создания Посланий в Новом Завете и Апокалипсисе 1830. 8.
19. Из лекций зимнего семестра 1826—1827 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория (<i>А.Л.Вольский</i>).....	5
Введение	41
Первая часть. Грамматическое толкование	73
Заключение	112
Вторая часть. Психологическое толкование	153
<i>О поиске единства стиля</i>	162
<i>Обнаружение самобытности в композиции</i>	163
<i>Особенности психологической задачи</i>	176
<i>Применение вышесказанного к Новому Завету</i>	192
<i>Особенности технической задачи</i>	207
Заключение	236

Ф.Шлейермахер
Герменевтика

Перевод с немецкого
А.Л.Вольского

ЛР № 065334 от 7 августа 1997 г.

Формат 70x100/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.

Издательство «Европейский Дом»
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3, оф. 54, 56
Тел./факс: (812) 279-0833, e-mail: eurohouse@nm.ru

Отпечатано в типографии СПбИИ РАН «Нестор-История»
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7

Фридрих Шлейермахер — основоположник современной филологической герменевтики, художественного учения о понимании письменной и устной речи.

Его герменевтическое учение формулирует универсальный принцип научной интерпретации всякого текста, который впоследствии получил название герменевтического круга: целое понимается из совокупности своих частей, а всякая часть — только в связи с целым.

Герменевтический круг лежит в основе обеих сторон толкования: грамматической и психологической.

При грамматическом толковании мы понимаем речь (текст) в связи с «языковой областью, близкой автору и читателю», а при психологическом — в связи с жизнью автора и особенностями его индивидуального стиля.

Истинное толкование возможно только при взаимодействии этих сторон.

Книга Шлейермахера по праву считается классическим трудом по герменевтике.

Его учение легло в основу современных научных методов анализа текста.